

ЛЕВ  
ТОЛСТОЙ

---

СЕВАСТОПОЛЬСКИЕ  
РАССКАЗЫ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ. ТОМ 4

Весь Толстой в один клик

Лев Толстой

**Полное собрание сочинений. Том  
4. Севастопольские рассказы**

«Библиотечный фонд»

1855-1856

**Толстой Л. Н.**

Полное собрание сочинений. Том 4. Севастопольские рассказы /  
Л. Н. Толстой — «Библиотечный фонд», 1855-1856 — (Весь  
Толстой в один клик)

## Содержание

Лев Николаевич	5
Предисловие к электронному изданию	6
СЕВАСТОПОЛЬСКИЕ РАССКАЗЫ (1855—1856)	7
**** СЕВАСТОПОЛЬ В ДЕКАБРЕ МЕСЯЦЕ.	8
**** СЕВАСТОПОЛЬ В МАЕ.	16
1.	16
2.	16
3.	18
4.	20
5.	22
6.	25
7.	26
8.	27
9.	28
10.	30
11.	31
12.	33
13.	34
14.	36
15.	36
16.	38
**** СЕВАСТОПОЛЬ В АВГУСТЕ 1855 ГОДА.	41
1.	41
Конец ознакомительного фрагмента.	43

# Лев Николаевич Толстой

## Севастопольские рассказы

Государственное издательство  
«Художественная литература»  
Москва – 1935

Электронное издание осуществлено в рамках краудсорсингового проекта [«Весь Толстой в один клик»](#)

Организаторы:  
[Государственный музей Л.Н. Толстого](#)  
[Музей-усадьба «Ясная Поляна»](#)  
[Компания АБВУУ](#)

Подготовлено на основе электронной копии 4-го тома Полного собрания сочинений Л.Н. Толстого, предоставленной [Российской государственной библиотекой](#)

Электронное издание 90-томного собрания сочинений Л.Н. Толстого доступно на портале [www.tolstoy.ru](http://www.tolstoy.ru)

Предисловие и редакционные пояснения к 4-му тому Полного собрания сочинений Л.Н. Толстого можно прочитать в настоящем издании

*Если Вы нашли ошибку, пожалуйста, напишите нам [info@tolstoy.ru](mailto:info@tolstoy.ru)*

## Предисловие к электронному изданию

Настоящее издание представляет собой электронную версию 90-томного собрания сочинений Льва Николаевича Толстого, вышедшего в свет в 1928—1958 гг. Это уникальное академическое издание, самое полное собрание наследия Л.Н.Толстого, давно стало библиографической редкостью. В 2006 году музей-усадьба «Ясная Поляна» в сотрудничестве с Российской государственной библиотекой и при поддержке фонда Э. Меллона и *координации* Британского совета осуществили сканирование всех 90 томов издания. Однако для того чтобы пользоваться всеми преимуществами электронной версии (чтение на современных устройствах, возможность работы с текстом), предстояло еще распознать более 46 000 страниц. Для этого Государственный музей Л.Н. Толстого, музей-усадьба «Ясная Поляна» вместе с партнером – компанией АBBYY, открыли проект «Весь Толстой в один клик». На сайте [readingtolstoy.ru](http://readingtolstoy.ru) к проекту присоединились более трех тысяч волонтеров, которые с помощью программы АBBYY FineReader распознавали текст и исправляли ошибки. Буквально за десять дней прошел первый этап сверки, еще за два месяца – второй. После третьего этапа корректуры *тома и отдельные произведения* публикуются в электронном виде на сайте [tolstoy.ru](http://tolstoy.ru).

В издании сохраняется орфография и пунктуация печатной версии 90-томного собрания сочинений Л.Н. Толстого.

*Руководитель проекта «Весь Толстой в один клик»  
Фекла Толстая*

*Перепечатка разрешается безвозмездно.*

–

*Reproduction libre pour tous les pays.*



Л. Н. ТОЛСТОЙ  
март 1856 г.  
*Размер подлинника*

## **СЕВАСТОПОЛЬСКИЕ РАССКАЗЫ (1855—1856)**

РЕДАКТОРЫ

В. И. СРЕЗНЕВСКИЙ

М. А. ЦЯВЛОВСКИЙ

### \*\*\*\* СЕВАСТОПОЛЬ В ДЕКАБРЕ МЕСЯЦЕ.

Утренняя заря только что начинает окрашивать небосклон над Сапун-горою; темно-синяя поверхность моря уже сбросила с себя сумрак ночи и ждет первого луча, чтобы заиграть веселым блеском; с бухты несет холодом и туманом; снега нет – всё черно, но утренний резкий мороз хватает за лицо и трещит под ногами, и далекий неумолкаемый гул моря, изредка прерываемый раскатистыми выстрелами в Севастополе, один нарушает тишину утра. На кораблях глухо бьет 8-я стклянка.

На Северной денная деятельность понемногу начинает заменять спокойствие ночи: где прошла смена часовых, побрякивая ружьями; где доктор уже спешит к госпиталю; где солдатик вылез из землянки, моет оледенелой водой загорелое лицо, и, оборотясь на зардевшийся восток, быстро крестясь, молится Богу; где высокая тяжелая *маджара* на верблюдах со скрипом протащила на кладбище хоронить окровавленных покойников, которыми она чуть не доверху наложена. . . Вы подходите к пристани – особенный запах каменного угля, навоза, сыро-сти и говядины поражает вас; тысячи разнородных предметов – дрова, мясо, туры, мука, железо и т. п. – кучей лежат около пристани; солдаты разных полков, с мешками и ружьями, без мешков и без ружей, толпятся тут, курят, бранятся, перетаскивают тяжести на пароход, который, дымясь, стоит около помоста; вольные ялики, наполненные всякого рода народом – солдатами, моряками, купцами, женщинами – причаливают и отчаливают от пристани.

– На Графскую, ваше благородие? Пожалуйте, – предлагают вам свои услуги два или три отставных матроса, вставая из яликов.

Вы выбираете тот, который к вам поближе, шагаете через полусгнивший труп какой-то гнедой лошади, которая тут в грязи лежит около лодки, и проходите к рулю. Вы отчалили от берега. Кругом вас блестящее уже на утреннем солнце море, впереди – старый матрос в верблюжьем пальто и молодой белоголовый мальчик, которые молча усердно работают веслами. Вы смотрите и на полосатые громады кораблей, близко и далеко рассыпанных по бухте, и на черные небольшие точки шлюпок, движущихся по блестящей лазури, и на красивые светлые строения города, окрашенные розовыми лучами утреннего солнца, виднеющиеся на той стороне, и на пенящуюся белую линию бона и затопленных кораблей, от которых кой-где грустно торчат черные концы мачт, и на далекий неприятельский флот, маячащий на хрустальном горизонте моря, и на пенящиеся струи, в которых прыгают соляные пузырьки, поднимаемые веслами; вы слушаете равномерные звуки ударов вёсел, звуки голосов, по воде долетающих до вас, и величественные звуки стрельбы, которая, как вам кажется, усиливается в Севастополе.

Не может быть, чтобы при мысли, что и вы в Севастополе, не проникло в душу вашу чувство какого-то мужества, гордости, и чтоб кровь не стала быстрее обращаться в ваших жилах. . .

– Ваше благородие! прямо под Кистентина<sup>1</sup> держите, – скажет вам старик матрос, оборотившись назад, чтобы поверить направление, которое вы даете лодке, – вправо руля.

– А на нем пушки-то еще все, – заметит беловолосый парень, проходя мимо корабля и разглядывая его.

– А то как же: он новый, на нем Корнилов жил, – заметит старик, тоже взглядывая на корабль.

– Вишь ты, где разорвало! – скажет мальчик, после долгого молчания взглядывая на белое облачко расходящегося дыма, вдруг появившегося высоко-высоко над Южной бухтой и сопровождаемого резким звуком разрыва бомбы.

– Это *он* с новой батареи нынче палит, – прибавит старик, равнодушно поплеывая на руку. – Ну, навались, Мишка, баркас перегоним. – И ваш ялик быстрее подвигается вперед по

<sup>1</sup> Корабль «Константин».

широкой зыби бухты, действительно перегоняет тяжелый баркас, на котором навалены какие-то кули, и неровно гребут неловкие солдаты, и пристаёт между множеством причаленных всякого рода лодок к Графской пристани.

На набережной шумно шевелятся толпы серых солдат, черных матросов и пестрых женщин. Бабы продают булки, русские мужики с самоварами кричат *сбитень горячий*, и тут же на первых ступенях валяются заржавевшие ядра, бомбы, картечи и чугунные пушки разных калибров. Немного далее большая площадь, на которой валяются какие-то огромные брусья, пушечные станки, спящие солдаты; стоят лошади, повозки, зеленые орудия и ящики, пехотные кдзла; двигаются солдаты, матросы, офицеры, женщины, дети, купцы; ездят телеги с сеном, с кулями и с бочками; кой-где проедет казак и офицер верхом, генерал на дрожках. Направо улица загорожена баррикадой, на которой в амбразурах стоят какие-то маленькие пушки, и около них сидит матрос, покуривая трубочку. Налево красивый дом с римскими цифрами на фронте, под которым стоят солдаты и окровавленные носилки, – везде вы видите неприятные следы военного лагеря. Первое впечатление ваше непременно самое неприятное: странное смешение лагерной и городской жизни, красивого города и грязного бивуака не только не красиво, но кажется отвратительным беспорядком; вам даже покажется, что все перепуганы, суетятся, не знают, что делать. Но взгляните ближе в лица этих людей, движущихся вокруг вас, и вы поймете совсем другое. Посмотрите хоть на этого фурштатского солдатика, который ведет поить какую-то гнедую тройку и так спокойно мурлыкает себе что-то под нос, что, очевидно, он не заблудится в этой разнородной толпе, которой для него и не существует, но что он исполняет свое дело, какое бы оно ни было – поить лошадей или таскать орудия – так же спокойно и самоуверенно, и равнодушно, как бы всё это происходило где-нибудь в Туле или в Саранске. То же выражение читаете вы и на лице этого офицера, который в безукоризненно белых перчатках проходит мимо, и в лице матроса, который курит, сидя на баррикаде, и в лице рабочих солдат, с носилками дожидающихся на крыльце бывшего Собрания, и в лице этой девицы, которая, боясь замочить свое розовое платье, по камешкам перепрыгивает через улицу.

Да! вам непременно предстоит разочарование, ежели вы в первый раз въезжаете в Севастополь. Напрасно вы будете искать хоть на одном лице следов суетливости, растерянности или даже энтузиазма, готовности к смерти, решимости; – ничего этого нет: вы видите будничных людей, спокойно занятых будничным делом, так что, может быть, вы упрекнете себя в излишней восторженности, усомнитесь немного в справедливости понятия о геройстве защитников Севастополя, которое составилось в вас по рассказам, описаниям и вида, и звуков с Северной стороны. Но прежде, чем сомневаться, сходите на бастионы, посмотрите защитников Севастополя на самом месте защиты или, лучше, найдите прямо напротив в этот дом, бывший прежде Севастопольским Собранием и у крыльца которого стоят солдаты с носилками, – вы увидите там защитников Севастополя, увидите там ужасные и грустные, великие и забавные, но изумительные, возвышающие душу зрелища.

Вы входите в большую залу Собрания. Только что вы отворили дверь, вид и запах 40 или 50 ампутационных и самых тяжело-раненых больных, одних на койках, большей частью на полу, вдруг поражает вас. Не верьте чувству, которое удерживает вас на пороге залы, – это дурное чувство, – идите вперед, не стыдитесь того, что вы как будто пришли *смотреть* на страдалцев, не стыдитесь подойти и поговорить с ними: несчастные любят видеть человеческое сочувствующее лицо, любят рассказать про свои страдания и услышать слова любви и участия. Вы проходите по середине постелей и ищите лицо менее строгое и страдающее, к которому вы решитесь подойти, чтобы побеседовать.

– Ты куда ранен? – спрашиваете вы нерешительно и робко у одного старого, исхудалого солдата, который, сидя на койке, следит за вами добродушным взглядом и как будто приглашает подойти к себе. Я говорю: «робко спрашиваете», потому что страдания, кроме глубокого сочувствия, внушают почему-то страх оскорбить и высокое уважение к тому, кто перенес их.

– В ногу, – отвечает солдат; – но в это самое время вы сами замечаете по складкам одеяла, что у него ноги нет выше колена. – Слава Богу теперь, – прибавляет он: – на выписку хочу.

– А давно ты уже ранен?

– Да вот шестая неделя пошла, ваше благородие!

– Что же, болит у тебя теперь?

– Нет, теперь не болит, ничего; только как будто в икре ноет, когда погода, а то ничего.

– Как же ты это был ранен?

– На 5-м баксионе, ваше благородие, как первая бандировка была: навел пушку, стал отходить, этаким манером, к другой амбразуре, как *он* ударит меня по ноге, ровно как в яму оступился. Глядь, а ноги нет.

– Неужели больно не было в эту первую минуту?

– Ничего; только как горячим чем меня пхнули в ногу.

– Ну, а потом?

– И потом ничего; только как кожу натягивать стали, так саднило как будто. Оно первое дело, ваше благородие, *не думать много*: как не думаешь, оно тебе и ничего. Всё больше оттого, что думает человек.

В это время к вам подходит женщина в сереньком полосатом платье, повязанная черным платком; она вмешивается в ваш разговор с матросом и начинает рассказывать про него, про его страдания, про отчаянное положение, в котором он был четыре недели, про то, как, бывши ранен, остановил носилки, с тем чтобы посмотреть на залп нашей батареи, как великие князья говорили с ним и пожаловали ему 25 рублей, и как он сказал им, что он опять хочет на бастион, с тем, чтобы учить молодых, ежели уже сам работать не может. Говоря всё это одним духом, женщина эта смотрит то на вас, то на матроса, который, отвернувшись и как будто не слушая ее, щиплет у себя на подушке корпию, и глаза ее блестят каким-то особенным восторгом.

– Это хозяйка моя, ваше благородие! – замечает вам матрос с таким выражением, как будто извиняется за нее перед вами, как будто говорит: «уж вы ее извините. Известно, бабье дело – глупые слова говорит».

Вы начинаете понимать защитников Севастополя; вам становится почему-то совестно за самого себя перед этим человеком. Вам хотелось бы сказать ему слишком много, чтобы выразить ему свое сочувствие и удивление; но вы не находите слов или недовольны теми, которые приходят вам в голову, – и вы молча склоняетесь перед этим молчаливым, бессознательным величием и твердостью духа, этой стыдливостью перед собственным достоинством.

– Ну, дай Бог тебе поскорее поправиться, – говорите вы ему и останавливаетесь перед другим больным, который лежит на полу и, как кажется, в нестерпимых страданиях ожидает смерти.

Это белокурый, с пухлым и бледным лицом человек. Он лежит навзничь, закинув назад левую руку, в положении, выражающем жестокое страдание. Сухой открытый рот с трудом выпускает хрипящее дыхание; голубые оловянные глаза закачены кверху, и из-под сбившегося одеяла высунут остаток правой руки, обернутый бинтами. Тяжелый запах мертвого тела сильнее поражает вас, и пожирающий внутренний жар, проникающий все члены страдальца, проникает как будто и вас.

– Чтò, он без памяти? – спрашиваете вы у женщины, которая идет за вами и ласково, как на родного, смотрит на вас.

– Нет, еще слышит, да уж очень плох, – прибавляет она шопотом. – Я его нынче чаем поила – что ж, хоть и чужой, всё надо жалость иметь – так уж не пил почти.

– Как ты себя чувствуешь? – спрашиваете вы его.

Раненый поворачивает зрачки на ваш голос, но не видит и не понимает вас.

– У сердце гхорить.

Немного далее вы видите старого солдата, который переменяет белье. Лицо и тело его какого-то коричневого цвета и худы, как скелет. Руки у него совсем нет: она вылушена в плече. Он сидит бодро, он поправился; но по мертвому, тусклому взгляду, по ужасной худобе и морщинам лица вы видите, что это существо, уже выстрадавшее лучшую часть своей жизни.

С другой стороны вы увидите на койке страдальческое, бледное-бледное и нежное лицо женщины, на котором играет во всю щеку горячечный румянец.

– Это нашу матроску 5-го числа в ногу задело бомбой, – скажет вам ваша путеводительница: – она мужу на бастион обедать носила.

– Что ж, отрезали?

– Выше колена отрезали.

Теперь, ежели нервы ваши крепки, пройдите в дверь налево: в той комнате делают перевязки и операции. Вы увидите там докторов с окровавленными по локти руками и бледными, угрюмыми физиономиями, занятых около койки, на которой, с открытыми глазами и говоря, как в бреду, бессмысленные, иногда простые и трогательные слова, лежит раненый, под влиянием хлороформа. Доктора заняты отвратительным, но благодетельным делом ампутаций. Вы увидите, как острый кривой нож входит в белое здоровое тело; увидите, как с ужасным, раздирающим криком и проклятиями раненый вдруг приходит в чувство; увидите, как фельдшер бросит в угол отрезанную руку; увидите, как на носилках лежит, в той же комнате, другой раненый и, глядя на операцию товарища, корчится и стонет не столько от физической боли, сколько от моральных страданий ожидания, – увидите ужасные, потрясающие душу зрелища; увидите войну не в правильном, красивом и блестящем строе, с музыкой и барабанным боем, с развевающимися знаменами и гарцующими генералами, а увидите войну в настоящем ее выражении – в крови, в страданиях, в смерти...

Выходя из этого дома страданий, вы непременно испытаете отрадное чувство, полнее вдохнете в себя свежий воздух, почувствуете удовольствие в сознании своего здоровья, но, вместе с тем, в созерцании этих страданий почерпнете сознание своего ничтожества и спокойно, без нерешимости пойдете на бастионы...

«Что значат смерть и страдание такого ничтожного червяка, как я, в сравнении с столькими смертями и столькими страданиями?» Но вид чистого неба, блестящего солнца, красивого города, отворенной церкви и движущегося по разным направлениям военного люда скоро приведет ваш дух в нормальное состояние легкомыслия, маленьких забот и увлечения одним настоящим.

Навстречу попадутся вам, может быть, из церкви похороны какого-нибудь офицера, с розовым гробом и музыкой и развевающимися хоругвями; до слуха вашего долетят, может быть, звуки стрельбы с бастионов, но это не наведет вас на прежние мысли; похороны покажутся вам весьма красивым воинственным зрелищем, звуки – весьма красивыми воинственными звуками, и вы не соедините ни с этим зрелищем, ни с этими звуками мысли ясной, перенесенной на себя, о страданиях и смерти, как вы это сделали на перевязочном пункте.

Пройдя церковь и баррикаду, вы войдете в самую оживленную внутреннюю жизнь часть города. С обеих сторон вывески лавок, трактиров; купцы, женщины в шляпках и платочках, щеголеватые офицеры, – всё говорит вам о твердости духа, самоуверенности, безопасности жителей.

Зайдите в трактир направо, ежели вы хотите послушать толки моряков и офицеров: там уж верно идут рассказы про нынешнюю ночь, про Феньку, про дело 24-го, про то, как дорого и нехорошо подают котлетки, и про то, как убит тот-то и тот-то товарищ.

– Чорт возьми, как нынче у нас плохо! – говорит басом белобрысенький, безусый морской офицерик в зеленом вязаном шарфе.

– Где у нас? – спрашивает его другой.

– На 4-м бастионе, – отвечает молоденький офицер, и вы непременно с большим вниманием и даже некоторым уважением посмотрите на белобрысенького офицера при словах: «на 4-м бастионе». Его слишком большая развязность, размахивание руками, громкий смех и голос, казавшиеся вам нахальством, покажутся вам тем особенным бретерским настроением духа, которое приобретают иные очень молодые люди после опасности; но всё-таки вы подумаете, что он станет вам рассказывать, как плохо на 4-м бастионе от бомб и пуль: ничуть не бывало! плохо оттого, что грязно. «Пройти на батарею нельзя», скажет он, показывая на сапоги, выше икор покрытые грязью. «А у меня нынче лучшего комендора убили, прямо в лоб влепило», скажет другой. «Кого это? Митюхина?» – «Нет... Да что, дадут ли мне телятины? Вот канальи! – прибавит он к трактирному слуге. – Не Митюхина, а Абросимова. Молодец такой – в шести вылазках был».

На другом углу стола, за тарелками котлет с горошком и бутылкой кислого крымского вина, называемого «бордо», сидят два пехотных офицера: один молодой, с красным воротником и с двумя звездочками на шинели, рассказывает другому, старому, с черным воротником и без звездочек, про альминское дело. Первый уже немного выпил, и по остановкам, которые бывают в его рассказе, по нерешительному взгляду, выражающему сомнение в том, что ему верят, и главное, что слишком велика роль, которую он играл во всем этом, и слишком всё страшно, заметно, что он сильно отклоняется от строгого повествования истины. Но вам не до этих рассказов, которые вы долго еще будете слушать во всех углах России: вы хотите скорее идти на бастионы, именно на 4-й, про который вам так много и так различно рассказывали. Когда кто-нибудь говорит, что он был на 4-м бастионе, он говорит это с особенным удовольствием и гордостью; когда кто говорит: «я иду на 4-й бастион», непременно заметно в нем маленькое волнение или слишком большое равнодушие; когда хотят подшутить над кем-нибудь, говорят: «тебя бы поставить на 4-й бастион»; когда встречают носилки и спрашивают: «откуда?» большей частью отвечают: «с 4-го бастиона». Вообще же существуют два совершенно различные мнения про этот страшный бастион: тех, которые никогда на нем не были, и которые убеждены, что 4-й бастион есть верная могила для каждого, кто пойдет на него, и тех, которые живут на нем, как белобрысенький мичман, и которые, говоря про 4-й бастион, скажут вам, сухо или грязно там, тепло или холодно в землянке и т.д.

В полчаса, которые вы провели в трактире, погода успела перемениться: туман, расстилавшийся по морю, собрался в серые, скучные, сырые тучи и закрыл солнце; какая-то печальная изморозь сыплется сверху и мочит крыши, тротуары и солдатские шинели...

Пройдя еще одну баррикаду, вы выходите из дверей направо и поднимаетесь вверх по большой улице. За этой баррикадой дома по обеим сторонам улицы необитаемы, вывесок нет, двери закрыты досками, окна выбиты, где отбит угол стены, где пробита крыша. Строения кажутся старыми, испытанными всякое горе и нужду ветеранами, и как будто гордо и несколько презрительно смотрят на вас. По дороге спотыкаетесь вы на валяющиеся ядра и в ямы с водой, вырытые в каменном грунте бомбами. По улице встречаете вы и обгоняете команды солдат, пластунов, офицеров; изредка встречается женщина или ребенок, но женщина уже не в шляпке, а матроска в старой шубейке и в солдатских сапогах. Проходя дальше по улице и спустившись под маленький изволок, вы замечаете вокруг себя уже не дома, а какие-то странные груды развалин-камней, досок, глины, бревен; впереди себя на крутой горе видите какое-то черное, грязное пространство, изрытое канавами, и это-то впереди и есть 4-й бастион... Здесь народу встречается еще меньше, женщин совсем не видно, солдаты идут скоро, по дороге попадаются капли крови и непременно встретите тут четырех солдат с носилками и на носилках бледно-желтоватое лицо и окровавленную шинель. Ежели вы спросите: «куда ранен?» носильщики сердито, не поворачиваясь к вам, скажут: в ногу или в руку, ежели он ранен легко; или сурово промолчат, ежели из-за носилок не видно головы, и он уже умер или тяжело ранен.

Недалекий свист ядра или бомбы, в то самое время, как вы станете подниматься на гору, неприятно поразит вас. Вы вдруг поймете и совсем иначе, чем понимали прежде, значение тех звуков выстрелов, которые вы слушали в городе. Какое-нибудь тихо-отрадное воспоминание вдруг блеснет в вашем воображении; собственная ваша личность начнет занимать вас больше, чем наблюдения; у вас станет меньше внимания ко всему окружающему, и какое-то неприятное чувство нерешимости вдруг овладеет вами. Несмотря на этот подленький голос при виде опасности, вдруг заговоривший внутри вас, вы, особенно взглянув на солдата, который, размахивая руками и осклизаясь под гору, по жидкой грязи, рысью, со смехом бежит мимо вас, – вы заставляете молчать этот голос, невольно выпрямляете грудь, поднимаете выше голову и карабкаетесь вверх на скользкую глинистую гору. Только что вы немного взобрались на гору, справа и слева начинают жужжать штуцерные пули, и вы, может быть, призадумаетесь, не итти ли вам по траншее, которая ведет параллельно с дорогой; но траншея эта наполнена такой жидкой, желтой, вонючей грязью выше колена, что вы непременно выберете дорогу по горе, тем более, что вы видите, *все идут по дороге*. Пройдя шагов двести, вы входите в изрытое, грязное пространство, окруженное со всех сторон турами, насыпями, погребями, платформами, землянками, на которых стоят большие чугунные орудия и правильными кучами лежат ядра. Всё это кажется вам нагроможденным без всякой цели, связи и порядка. Где на батарее сидит кучка матросов, где по середине площадки, до половины потонув в грязи, лежит разбитая пушка, где пехотный солдатик, с ружьем переходящий через батарею и с трудом вытаскивающий ноги из липкой грязи; везде, со всех сторон и во всех местах, видите черепки, неразорванные бомбы, ядра, следы лагеря, и всё это затопленное в жидкой, вязкой грязи. Как вам кажется, недалеко от себя слышите вы удар ядра, со всех сторон, кажется, слышите различные звуки пуль, – жужжащие, как пчела, свистящие, быстрые или визжащие, как струна, – слышите ужасный гул выстрела, потрясающий всех вас, и который вам кажется чем-то ужасно страшным.

«Так вот он, 4-й бастион, вот оно, это страшное, действительно ужасное место!» думаете вы себе, испытывая маленькое чувство гордости и большое чувство подавленного страха. Но разочаруйтесь: это еще не 4-й бастион. Это Язоновский редут – место, сравнительно, очень безопасное и вовсе не страшное. Чтобы итти на 4-й бастион, возьмите направо, по этой узкой траншее, по которой, нагнувшись, побрел пехотный солдатик. По траншее этой встретите вы, может быть, опять носилки, матроса, солдат с лопатами, увидите проводники мин, землянки в грязи, в которые, согнувшись, могут влезать только два человека, и там увидите пластунов черноморских батальонов, которые там переобуваются, едят, курят трубки, живут, и увидите опять везде ту же вонючую грязь, следы лагеря и брошенный чугун во всевозможных видах. Пройдя еще шагов триста, вы снова выходите на батарею – на площадку, изрытую ямами и обставленную турами, насыпанными землей, орудиями на платформах и земляными валами. Здесь увидите вы, может быть, человек пять матросов, играющих в карты под бруствером, и морского офицера, который, заметив в вас нового человека, любопытного, с удовольствием покажет вам свое хозяйство и всё, что для вас может быть интересного. Офицер этот так спокойно свертывает папироску из желтой бумаги, сидя на орудии, так спокойно прохаживается от одной амбразуры к другой, так спокойно, без малейшей аффектации говорит с вами, что, несмотря на пули, которые чаще, чем прежде, жужжат над вами, вы сами становитесь хладнокровны и внимательно расспрашиваете и слушаете рассказы офицера. Офицер этот расскажет вам, – но только, ежели вы его расспросите, – про бомбардирование 5-го числа, расскажет, как на его батарее только одно орудие могло действовать, и из всей прислуги осталось 8 человек, и как всё-таки на другое утро 6-го он *палил*<sup>2</sup> из всех орудий; расскажет вам, как 5-го попала бомба в матросскую землянку и положила одиннадцать человек; покажет вам из амбразуры батареи и траншеи неприятельские, которые не дальше здесь, как в 30-40 сажнях. Одного я боюсь,

<sup>2</sup> Моряки все говорят палить, а не стрелять.

что под влиянием жужжания пуль, высовываясь из амбразуры, чтобы посмотреть неприятеля, вы ничего не увидите, а ежели увидите, то очень удивитесь, что этот белый каменистый вал, который так близко от вас и на котором вспыхивают белые дымки, этот-то белый вал и есть неприятель – *он*, как говорят солдаты и матросы.

Даже очень может быть, что морской офицер, из тщеславия или просто так, чтобы доставить себе удовольствие, захочет при вас пострелять немного. «Послать комендора и прислугу к пушке», и человек четырнадцать матросов живо, весело, кто засовывая в карман трубку, кто дожевывая сухарь, постукивая подкованными сапогами по платформе, подойдут к пушке и зарядят ее. Вглядитесь в лица, в осанки и в движения этих людей: в каждой морщине этого загорелого, скуластого лица, в каждой мышце, в ширине этих плеч, в толщине этих ног, обу-тых в громадные сапоги, в каждом движении, спокойном, твердом, неторопливом, видны эти главные черты, составляющие силу русского, – простоты и упрямства.

Вдруг ужаснейший, потрясающий не одни ушные органы, но всё существо ваше, гул поражает вас так, что вы вздрагиваете всем телом. Вслед затем вы слышите удаляющийся свист снаряда, и густой пороховой дым застилает вас, платформу и черные фигуры движущихся по ней матросов. По случаю этого нашего выстрела вы услышите различные толки матросов и увидите их одушевление и проявление чувства, которого вы не ожидали видеть, может быть, – это чувство злобы, мщения врагу, которое таится в душе каждого. «В самую *амбразуру* попала; кажись, убило двух... вон понесли», услышите вы радостные восклицания. «А вот он рассерчает: сей-час пустит сюда», скажет кто-нибудь; и действительно, скоро вслед за этим вы увидите впереди себя молнию, дым; часовой, стоящий на бруствере, крикнет: «пу-у-шка!» И вслед за этим мимо вас взвизгнет ядро, шлепнется в землю и воронкой взбросит вокруг себя брызги грязи и камни. Батарейный командир рассердится за это ядро, прикажет зарядить другое и третье орудия, неприятель тоже станет отвечать нам, и вы испытаете интересные чувства, услышите и увидите интересные вещи. Часовой опять закричит: «пушка» – и вы услышите тот же звук и удар, те же брызги, или закричит: «маркела!»,<sup>3</sup> и вы услышите равномерное, довольно приятное и такое, с которым с трудом соединяется мысль об ужасном, посвистывание бомбы, услышите приближающееся к вам и ускоряющееся это посвистывание, потом увидите черный шар, удар о землю, ощутительный, звенящий разрыв бомбы. Со свистом и визгом разлетятся потом осколки, зашуршат в воздухе камни, и забрызгает вас грязью. При этих звуках вы испытаете странное чувство наслаждения и вместе страха. В ту минуту, как снаряд, вы знаете, летит на вас, вам непременно придет в голову, что снаряд этот убьет вас; но чувство самолюбия поддерживает вас, и никто не замечает ножа, который режет вам сердце. Но зато, когда снаряд пролетел, не задев вас, вы оживаете, и какое-то отрадное, невыразимо приятное чувство, но только на мгновение, овладевает вами, так что вы находите какую-то особенную прелесть в опасности, в этой игре жизнью и смертью; вам хочется, чтобы еще и еще и поближе упало около вас ядро или бомба. Но вот еще часовой прокричал своим громким, густым голосом: «маркела», еще посвистывание, удар и разрыв бомбы; но вместе с этим звуком вас поражает стон человека. Вы подходите к раненому, который, в крови и грязи, имеет какой-то странный нечеловеческий вид, в одно время с носилками. У матроса вырвана часть груди. В первые минуты на забрызганном грязью лице его виден один испуг и какое-то притворное преждевременное выражение страдания, свойственное человеку в таком положении; но в то время, как ему приносят носилки, и он сам на здоровый бок ложится на них, вы замечаете, что выражение это сменяется выражением какой-то восторженности и высокой, невысказанной мысли: глаза горят, зубы сжимаются, голова с усилием поднимается выше, и в то время, как его поднимают, он оставив носилки и с трудом, дрожащим голосом говорит товарищам: «простите, братцы!», еще хочет сказать что-то, и видно, что хочет сказать что-то трогательное, но повторяет только

<sup>3</sup> Мортира.

еще раз: «простите, братцы!» В это время товарищ-матрос подходит к нему, надевает фуражку на голову, которую подставляет ему раненый, и спокойно, равнодушно, размахивая руками, возвращается к своему оружию. «Это вот каждый день этак человек семь или восемь», говорит вам морской офицер, отвечая на выражение ужаса, выражающегося на вашем лице, зевая и свертывая папиросу из желтой бумаги...

.....  
Итак, вы видели защитников Севастополя на самом месте защиты и идете назад, почему-то не обращая никакого внимания на ядра и пули, продолжающие свистать по всей дороге до разрушенного театра, – идете с спокойным, возвысившимся духом. Главное, отрадное убеждение, которое вы вынесли, это – убеждение в невозможности взять Севастополь и не только взять Севастополь, но поколебать где бы то ни было силу русского народа, – и эту невозможность видели вы не в этом множестве траверсов, брустверов, хитро сплетенных траншей, мин и орудий, одних на других, из которых вы ничего не поняли, но видели ее в глазах, речах, приемах, в том, что называется духом защитников Севастополя. То, что они делают, делают они так просто, так мало-напряженно и усиленно, что, вы убеждены, они еще могут сделать во сто раз больше... они всё могут сделать. Вы понимаете, что чувство, которое заставляет работать их, не есть то чувство мелочности, тщеславия, забывчивости, которое испытывали вы сами, но какое-нибудь другое чувство, более властное, которое сделало из них людей, так же спокойно живущих под ядрами, при ста случайностях смерти вместо одной, которой подвержены все люди, и живущих в этих условиях среди непрерывного труда, бдения и грязи. Из-за креста, из-за названия, из угрозы не могут принять люди эти ужасные условия: должна быть другая, высокая побудительная причина. Только теперь рассказы о первых временах осады Севастополя, когда в нем не было укреплений, не было войск, не было физической возможности удержать его, и всё-таки не было ни малейшего сомнения, что он не отдастся неприятелю, – о временах, когда этот герой, достойный древней Греции, – Корнилов, объезжая войска, говорил: «умрем, ребята, а не отдадим Севастополя», и наши русские, неспособные к фразерству, отвечали: «умрем! ура!» – только теперь рассказы про эти времена перестали быть для вас прекрасным историческим преданием, но сделались достоверностью, фактом. Вы ясно поймете, вообразите себе тех людей, которых вы сейчас видели, теми героями, которые в те тяжелые времена не упали, а возвышались духом и с наслаждением готовились к смерти, не за город, а за родину. Надолго оставит в России великие следы эта эпопея Севастополя, которой героем был народ русский.....

Уже вечерет. Солнце перед самым закатом вышло из-за серых туч, покрывающих небо, и вдруг багряным светом осветило лиловые тучи, зеленоватое море, покрытое кораблями и лодками, колыхаемое ровной широкой зыбью, и белые строения города, и народ, движущийся по улицам. По воде разносятся звуки какого-то старинного вальса, который играет полковая музыка на бульваре, и звуки выстрелов с бастионов, которые странно вторят им.

Севастополь.

1855 года, 25 апреля.

## \*\*\*\* СЕВАСТОПОЛЬ В МАЕ.

### 1.

Уже шесть месяцев прошло с тех пор, как просвистало первое ядро с бастионов Севастополя и взрыло землю на работах неприятеля, и с тех пор тысячи бомб, ядер и пуль не переставали летать с бастионов в траншеи и с траншей на бастионы, и ангел смерти не переставал парить над ними. —

Тысячи людских самолюбий успели оскорбиться, тысячи успели удовлетвориться, надуться, тысячи – успокоиться в объятиях смерти. Сколько звездочек надето, сколько снято, сколько Анн, Владимиров, сколько розовых гробов и полотняных покровов! А всё те же звуки раздаются с бастионов, всё так же – с невольным трепетом и суеверным страхом, – смотрят в ясный вечер французы из своего лагеря на черную изрытую землю бастионов Севастополя, на черные движущиеся по ним фигуры наших матросов и считают амбразуры, из которых сердито торчат чугунные пушки; всё так же в трубу рассматривает, с вышки телеграфа, штурманский унтер-офицер пестрые фигуры французов, их батареи, палатки, колонны, движущиеся по Зеленой горе, и дымки, вспыхивающие в траншеях, и всё с тем же жаром стремятся с различных сторон света разнородные толпы людей, с еще более разнородными желаниями, к этому роковому месту.

А вопрос, нерешенный дипломатами, еще меньше решается порохом и кровью.

Мне часто приходила странная мысль: что ежели бы одна воюющая сторона предложила другой – выслать из каждой армии по одному солдату? Желание могло бы показаться странным, но отчего не исполнить его? Потом выслать другого, с каждой стороны, потом 3-го, 4-го и т. д. до тех пор, пока осталось бы по одному солдату в каждой армии (предполагая, что армии равносильны, и что количество было бы заменяемо качеством). И тогда, ежели уже действительно сложные политические вопросы, между разумными представителями разумных созданий, должны решаться дракой, пускай бы подрались эти два солдата – один бы осаждал город, другой бы защищал его.

Это рассуждение кажется только парадоксом, но оно верно. – Действительно, какая бы была разница между одним русским, воюющим против одного представителя союзников, и между 80 тысячами воюющих против 80 тысяч? Отчего не 135 тысяч против 135 тысяч? Отчего не 20 тысяч против 20 тысяч? Отчего не 20 против 20-ти? Отчего не один против одного? Никак одно не логичнее другого. Последнее, напротив, гораздо логичнее, потому что человечнее. Одно из двух: или война есть сумасшествие, или ежели люди делают это сумасшествие, то они совсем не разумные создания, как у нас почему-то принято думать. —

### 2.

В осажденном городе Севастополе, на бульваре, около павильона играла полковая музыка, и толпы военного народа и женщин празднично двигались по дорожкам. Светлое весеннее солнце взошло с утра над английскими работами, перешло на бастионы, потом на город, – на Николаевскую казарму и, одинаково радостно светя для всех, теперь спускалось к далекому синему морю, которое, мерно колыхаясь, светилось серебряным блеском.

Высокий, немного сутуловатый пехотный офицер, натягивая на руку не совсем белую, но опрятную перчатку, вышел из калитки одного из маленьких матросских домиков, нагроможденных на левой стороне Морской улицы, и, задумчиво глядя себе под ноги, направился в гору к бульвару. Выражение некрасивого с низким лбом лица этого офицера изобличало тупость

умственных способностей, но притом рассудительность, честность и склонность к порядочности. Он был дурно сложен – длинноног, неловок и как будто стыдлив в движениях. На нем была незатасканная фуражка, тонкая, немного странного лилового цвета шинель, из-под борта которой виднелась золотая цепочка часов; панталоны со штрипками и чистые, блестящие, хотя и с немного стоптанными в разные стороны каблуками, опойковые сапоги, но не столько по этим вещам, которые не встречаются обыкновенно у пехотного офицера, сколько по общему выражению его персоны, опытный военный глаз сразу отличал в нем не совсем обыкновенного пехотного офицера, а немного повыше. Он должен был быть или немец, ежели бы не изобличали черты лица его чисто русское происхождение, или адъютант, или квартирмейстер полковой (но тогда бы у него были шпоры), или офицер на время кампании перешедший из кавалерии, а может и из гвардии. Он действительно был перешедший из кавалерии, и в настоящую минуту, поднимаясь к бульвару, думал о письме, которое сейчас получил от бывшего товарища, теперь отставного, помещика Т. губернии, и жены его, бледной голубоглазой Наташи, своей большой приятельницы. Он вспоминал одно место письма, в котором товарищ пишет:

«Когда приносят нам «Инвалид», то *Пунка* (так отставной улан называл жену свою) бросается опретью в переднюю, хватает газеты и бежит с ними на эс в *беседку, в гостиную* (в которой, помнишь, как славно мы проводили с тобой зимние вечера, когда полк стоял у нас в городе), и с таким жаром читает *ваши* геройские подвиги, что ты себе представить не можешь. Она часто про тебя говорит: Вот Михайлов! говорит она, так это *душка человек* – я готова расцеловать его, когда увижу – он *сражается на бастионах* и непременно получит Георгиевский крест, и про него в газетах напишут и т. д. и т. д., так что я решительно начинаю ревновать к тебе». – В другом месте он пишет: «До нас газеты доходят ужасно поздно, а хотя изустных новостей и много, не всем можно верить. Например, знакомые тебе *барышни с музыкой* рассказывали вчера, что уж будто Наполеон пойман нашими казаками и отослан в Петербург, но ты понимаешь, как много я этому верю. Рассказывал же нам один приезжий из Петербурга (он у министра по особым порученьям, премилый человек, и теперь, как в городе никого нет, такая для нас *рисурс*, что ты себе представить не можешь) – так он говорит наверно, что наши заняли Евпаторию, *так что французам нет уж сообщения с Балаклавой*, и что у нас при этом убито 200 человек, а у французов до 15 тыс. Жена была в таком восторге по этому случаю, что *кутила* целую ночь и говорит, что ты наверно, по ее предчувствию, был в этом деле и отличился»...

Несмотря на те слова и выражения, которые я нарочно отметил курсивом, и на весь тон письма, по которым высокомерный читатель верно составил себе истинное и невыгодное понятие, в отношении порядочности, о самом штабс-капитане Михайлове, на стоптанных сапогах, о товарище его, который пишет *рисурс* и имеет такие странные понятия о географии, о бледном друге на эсе (может быть, даже и не без основания вообразив себе эту Наташу с грязными ногтями), и вообще о всем этом праздном грязеньком провинциальном презренном для него круге, штабс-капитан Михайлов с невыразимо грустным наслаждением вспомнил о своем губернском бледном друге и как он сживал, бывало, с ним по вечерам в беседке и говорил о *чувстве*, вспомнил о добром товарище-улане, как он сердился и ремизился, когда они, бывало, в кабинете составляли пульку по копейке, как жена смеялась над ним, – вспомнил о дружбе к себе этих людей (может быть, ему казалось, что было что-то больше со стороны бледного друга): все эти лица с своей обстановкой мелькнули в его воображении в удивительно-сладком, отрадно-розовом цвете, и он, улыбаясь своим воспоминаниям, дотронулся рукою до кармана, в котором лежало это *милое* для него письмо. – Эти воспоминания имели тем бóльшую прелесть для штабс-капитана Михайлова, что тот круг, в котором ему теперь привелось жить в пехотном полку, был гораздо ниже того, в котором он вращался прежде, как кавалерист и дамский кавалер, везде хорошо принятый в городе Т.

Его прежний круг был до такой степени выше теперешнего, что когда, в минуты откровенности, ему случалось рассказывать пехотным товарищам, как у него были свои дрожки, как он танцевал на балах у губернатора и играл в карты с штатским генералом, его слушали равнодушно-недоверчиво, как будто не желая только противоречить и доказывать противное – «пускай говорит», мол, и что ежели он не выказывал явного презрения к кутежу товарищей – водкой, к игре на 5-ти рублевый банк, и вообще к грубости их отношений, то это надо отнести к особенной кротости, уживчивости и рассудительности его характера.

От воспоминаний штабс-капитан Михайлов невольно перешел к мечтам и надеждам. «Каково будет удивление и радость Наташи, думал он, шагая на своих стоптанных сапогах по узенькому переулку, когда она вдруг прочтет в «Инвалиде» описание, как я первый влез на пушку и получил Георгия. Капитана же я должен получить по старому представлению. Потом очень легко я в этом же году могу получить майора по линии, потому что много перебито, да и еще, верно, много перебыют нашего брата в эту кампанию. А потом опять будет дело, и, мне, как известному человеку, поручат полк... подполковник... Анну на шею... полковник...» и он был уже генералом, удостоивающим посещения Наташу, вдову товарища, который по его мечтам, умрет к этому времени, когда звуки бульварной музыки яснее долетели до его слуха, толпы народа кинулись ему в глаза, и он очутился на бульваре прежним пехотным штабс-капитаном, ничего незначущим, неловким и робким.

### 3.

Он подошел сначала к павильону, подле которого стояли музыканты, которым вместо попитров другие солдаты того же полка раскрывши держали ноты, и около которых, больше смотря, чем слушая, составили кружок писаря, юнкера, няньки с детьми и офицеры в *старых* шинелях. Кругом павильона стояли, сидели и ходили большею частью моряки, адъютанты и офицеры в белых перчатках и новых шинелях. По большой аллее бульвара ходили всяких сортов офицеры и всяких сортов женщины, изредка в шляпках, большей частью в платочках (были и без платочков и без шляпок), но ни одной не было старой, а все молодые. Внизу по тенистым, пахучим аллеям белых акаций ходили и сидели уединенные группы.

Никто особенно рад не был, встретив на бульваре штабс-капитана Михайлова, исключая, может быть, его полка капитана Обжогова и прапорщика Сусликова, которые с горячностью пожали ему руку, но первый был в верблюжьих штанах, без перчаток, в обтрепанной шинели и с таким красным вспотевшим лицом, а второй кричал так громко и развязно, что совестно было ходить с ними, особенно перед офицерами в белых перчатках, из которых с одним – с адъютантом – штабс-капитан Михайлов кланялся, а с другим – штаб-офицером – мог бы кланяться, потому что два раза встречал его у общего знакомого.

Притом же, что веселого ему было гулять с этими г-ами Обжоговым и Сусликовым, когда он и без того по 6-ти раз на день встречал их и пожимал им руки. Не для этого же он пришел на музыку.

Ему бы хотелось подойти к адъютанту, с которым он кланялся, и поговорить с этими г-ми совсем не для того, чтобы капитан Обжогов и прапорщик Сусликов и поручик Пиштецкий и др. видели, что он говорит с ними, но просто для того, что они приятные люди, притом знают все новости – порассказали бы... Но отчего же штабс-капитан Михайлов боится и не решается подойти к ним? «Что ежели они вдруг мне не поклонятся? думает он, или поклонятся и будут продолжать говорить между собою, как будто меня нет, или вовсе уйдут от меня, и я там останусь один между *аристократами*». Слово *аристократы* (в смысле высшего отборного круга, в каком бы то ни было сословии) получило у нас в России (где бы кажется, не должно бы было быть его) с некоторого времени большую популярность и проникло во все края и во все слои общества, куда проникло только тщеславие (а в какие условия времени и

обстоятельств не проникает эта гнусная страстишка?) – между купцами, между чиновниками, писарями, офицерами, в Саратов, в Мамадыши, в Винницы, везде, где есть люди. – А так как в осажденном городе Севастополе людей много, следовательно и тщеславия много, то есть и *аристократы*, несмотря на то, что ежеминутно висит смерть над головой каждого *аристократа* и *не-аристократа*. Для капитана Обжогова штабс-капитан Михайлов *аристократ*, потому что у него чистая шинель и перчатки, и он его за это терпеть не может, хотя уважает немного, для штабс-капитана Михайлова адъютант Калугин *аристократ*, потому что он адъютант и на «ты» с другим адъютантом; и за это он не совсем хорошо расположен к нему, хотя и боится его. Для адъютанта Калугина граф Нордов *аристократ*, и он его всегда ругает и презирает в душе за то, что он флигель-адъютант. Ужасное слово *аристократ*. Зачем подпоручик Зобов так принужденно смеется, проходя мимо своего товарища, который сидит с штаб-офицером? Чтобы доказать этим, что, хотя он и не *аристократ*, но всё-таки ничуть не хуже их. Зачем штаб-офицер говорит таким слабым лениво-грустным голосом? Чтоб доказать своему собеседнику, что он *аристократ* и очень милостив, разговаривая с подпоручиком. Зачем юнкер так размахивает руками и подмигивает, идя за барыней, которую он в первый раз видит и к которой он ни за что не решится подойти? Чтоб показать всем офицерам, что несмотря на то, что он им шапку снимает, он всё-таки аристократ, и ему очень весело. Зачем артиллерийский капитан так грубо обошелся с добродушным ординарцем? Чтобы доказать всем, что он никогда не заискивает и в *аристократах* не нуждается и т. д. и т. д. и т. д.

Тщеславие, тщеславие и тщеславие везде – даже на краю гроба и между людьми, готовыми к смерти из-за высокого убеждения. Тщеславие! Должно быть, оно есть характеристическая черта и особенная болезнь нашего века. Отчего между прежними людьми не слышно было об этой страсти, как об оспе или холере? Отчего в наш век есть только три рода людей: одних – принимающих начало тщеславия, как факт необходимо существующий, поэтому справедливый, и свободно подчиняющихся ему; других – принимающих его, как несчастное, но непреодолимое условие, и третьих – бессознательно, рабски действующих под его влиянием? Отчего Гомеры и Шекспиры говорили про любовь, про славу и про страдания, а литература нашего века есть только бесконечная повесть «Снобсов» и «Тщеславия»?

Штабс-капитан Михайлов два раза в нерешительности прошел мимо кружка *своих аристократов*, в третий раз сделал усилие над собой и подошел к ним. Кружок этот составляли четыре офицера: адъютант Калугин, знакомый Михайлова, адъютант князь Гальцин, бывший даже немножко аристократом для самого Калугина, подполковник Нефердов, один из так называемых 122-х светских людей, поступивших на службу из отставки под влиянием отчасти патриотизма, отчасти честолюбия и, главное, того, что *все* это делали; старый клубный московский холостяк, здесь присоединившийся к партии недовольных, ничего не делающих, ничего не понимающих и осуждающих все распоряжения начальства, и ротмистр Праскухин, тоже один из 122-х героев. – К счастью Михайлова, Калугин был в прекрасном расположении духа (генерал только-что поговорил с ним весьма доверенно, и князь Гальцин, приехав из Петербурга, остановился у него) – он счел не унижительным подать руку штабс-капитану Михайлову, чего не решился однако сделать Праскухин, весьма часто встречавшийся на бастионе с Михайловым, неоднократно пивший его вино и водку и даже должный ему по преферансу 12 руб. с полтиной. Не зная еще хорошенько князя Гальцина, ему не хотелось изобличить перед ним свое знакомство с простым пехотным штабс-капитаном; он слегка поклонился ему.

– Что, капитан, – сказал Калугин, – когда опять на баксиончик? Помните, как мы с вами встретились на Шварцовском редуте – жарко было? а?

– Да, жарко, – сказал Михайлов, с прискорбием вспоминая о том, какая у него была печальная фигура, когда он в ту ночь, согнувшись пробираясь по траншее на бастион, встретил Калугина, который шел таким молодцом, бодро побрякивая саблей.

– Мне, по настоящему, приходится завтра итти, но у нас болен, – продолжал Михайлов, – один офицер, так... – Он хотел рассказать, что черед был не его, но так как командир 8-й роты был нездоров, а в роте оставался прапорщик только, то он счел своей обязанностью предложить себя на место поручика Непшитшетского и потому шел нынче на бастион. Калугин не дослушал его.

– А я чувствую, что на-днях что-нибудь будет, – сказал он кн. Гальцину.

– А что, не будет ли нынче чего-нибудь? – робко спросил Михайлов, поглядывая то на Калугина, то на Гальцина. Никто не отвечал ему. Гальцин только сморщился как-то, пустил глаза мимо его фуражки и, помолчав немного, сказал:

– Славная девочка эта в красном платочке. Вы ее не знаете, капитан?

– Это около моей квартиры дочь одного матроса, – отвечал штабс-капитан.

– Пойдемте, посмотрим ее хорошенько.

И кн. Гальцин взял под руку с одной стороны Калугина, с другой штабс-капитана, вперед уверенный, что это не может не доставить последнему большого удовольствия, что действительно было справедливо.

Штабс-капитан был суеверен и считал большим грехом перед делом заниматься женщинами, но в этом случае он притворился большим развратником, чему видимо не верили кн. Гальцин и Калугин, и что чрезвычайно удивляло девицу в красном платочке, которая не раз замечала, как штабс-капитан краснел, проходя мимо ее окошка. Праскухин шел сзади и всё толкал за руку кн. Гальцина, делая разные замечания на французском языке; но, так как вчетвером нельзя было итти по дорожке, он принужден был итти один и только на втором круге взял под руку подошедшего и заговорившего о нем известно храброго морского офицера Сервягина, желавшего тоже присоединиться к кружку *аристократов*. И известный храбрец с радостью просунул свою мускулистую руку, не раз коловшую французов, за локоть всем и самому Сервягину хорошо известному за неслишком хорошего человека, Праскухину. Но когда Праскухин, объясняя князю Гальцину свое знакомство с *этим* моряком, шепнул ему, что это был известный храбрец, кн. Гальцин, бывший вчера на 4-м бастионе и видевший от себя в 20-ти шагах лопнувшую бомбу, считая себя не меньшим храбрецом, чем этот г-н, и предполагая, что весьма много репутаций приобретает задаром, не обратил на Сервягина никакого внимания.

Штабс-капитану Михайлову так приятно было гулять в этом обществе, что он забыл про *милое* письмо из Т., про мрачные мысли, осаждавшие его при предстоящем отправлении на бастион и, главное, про то, что в 7 часов ему надо было быть дома. Он пробыл с ними до тех пор, пока они не заговорили исключительно между собой, избегая его взглядов, давая тем знать, что он может итти, и наконец совсем ушли от него. Но штабс-капитан всё-таки был доволен проходя мимо юнкера барона Песта, который был особенно горд и самонадеян со вчерашней ночи, которую он в первый раз провел в блиндаже 5-го бастиона, и считал себя, вследствие этого, героем, он несколько не огорчился подозрительно-высокомерным выражением, с которым юнкер вытянулся и снял перед ним фуражку.

#### 4.

Но едва штабс-капитан перешагнул порог своей квартиры, как совсем другие мысли пошли ему в голову. Он увидел свою маленькую комнатку с земляным неровным полом и кривыми окнами, залепленными бумагой, свою старую кровать с прибитым над ней ковром, на котором изображена была амазонка, и висели два тульские пистолета, грязную, с ситцевым одеялом постель юнкера, который жил с ним; увидел своего Никиту, который с взбудораженными, сальными волосами, почесываясь, встал с полу; увидел свою старую шинель, личные сапоги и узелок, из которого торчали конец мыльного сыра и горлышко портерной бутылки с

водкой, приготовленные для него на бастион, и с чувством, похожим на ужас, он вдруг вспомнил, что ему нынче на целую ночь итти с ротой в ложементы.

«Наверное, мне быть убитым нынче – думал штабс-капитан – я чувствую. И главное, что не мне надо было итти, а я сам вызвался. И уж это всегда убьют того, кто напрашивается. И чем болен этот проклятый Непшитшетский? Очень может быть, что и вовсе не болен, а тут из-за него убьют человека, а непременно убьют. Впрочем, ежели не убьют, то верно, представят. Я видел, как полковому командиру понравилось, когда я сказал, что позвольте мне итти, ежели поручик Непшитшетский болен. Ежели не выйдет майора, то уж Владимира наверно. Ведь я уж 13-й раз иду на бастион. Ох, 13! скверное число. Непременно убьют, чувствую, что убьют; но надо же было кому-нибудь итти, нельзя с прапорщиком роте итти, а что-нибудь бы случилось, ведь это честь полка, честь армии от этого зависит. Мой *долг* был итти... да, *долг*. А есть предчувствие». Штабс-капитан забывал, что это предчувствие, в более или менее сильной степени, приходило ему каждый раз, как нужно было итти на бастион, и не знал, что то же, в более или менее сильной степени, предчувствие испытывает всякий, кто идет в дело. Немного успокоив себя этим понятием долга, которое у штабс-капитана, как и вообще у всех людей недалеких, было особенно развито и сильно, он сел к столу и стал писать прощальное письмо отцу, с которым последнее время был не совсем в хороших отношениях по денежным делам. Через 10 минут, написав письмо, он встал от стола с мокрыми от слез глазами и, мысленно читая все молитвы, которые знал (потому что ему совестно было перед своим человеком громко молиться Богу), стал одеваться. Еще очень хотелось ему поцеловать образок Митрофания, благословение покойницы матушки, и в который он имел особенную веру, но так как он стыдился сделать это при Никите, то выпустил образа из сюртука так, чтобы мог их достать, не расстегиваясь, на улице. Пьяный и грубый слуга лениво подал ему новый сюртук (старый, который обыкновенно надевал штабс-капитан, идя на бастион, не был починен).

– Отчего не починен сюртук? тебе только бы всё спать, этакой! – сердито сказал Михайлов.

– Чего спать? – проворчал Никита: – день деньской бегаешь как собака: умаешься небось, – а тут не засни еще.

– Ты опять пьян, я вижу.

– Не на ваши деньги напился, что попрекаете.

– Молчи, скотина! – крикнул штабс-капитан, готовый ударить человека, еще прежде расстроенный, а теперь окончательно выведенный из терпения и огорченный грубостью Никиты, которого он любил, баловал даже, и с которым жил уже 12 лет.

– Скотина? скотина? – повторял слуга: – и что ругаетесь скотиной, сударь? ведь теперь время какое? нехорошо ругать.

Михайлов вспомнил, куда он идет, и ему стыдно стало.

– Ведь ты хоть кого выведешь из терпенья, Никита, – сказал он кротким голосом. – Письмо это к батюшке на столе, оставь так и не трогай, – прибавил он, краснея.

– Слушаюсь, – сказал Никита, расчувствовавшийся под влиянием вина, которое он выпил «на свои деньги», и с видимым желанием заплакать, хлопая глазами.

Когда же на крыльце штабс-капитан сказал: «прощай, Никита!» то Никита вдруг разрылся принужденными рыданиями и бросился целовать руки своего барина. «Прощайте, барин!» всхлипывая, говорил он.

Старуха матроска, стоявшая на крыльце, как женщина, не могла не присоединиться тоже к этой чувствительной сцене, начала утирать глаза грязным рукавом и приговаривать что-то о том, что уж на что господа, и те какие муки принимают, а что она, бедный человек, вдовой осталась, и рассказала в сотый раз пьяному Никите о своем горе: как ее мужа убили еще в первую *бандировку* и как ее домишко на слободке весь разбили (тот, в котором она жила, принадлежал не ей) и т. д. и т. д. – По уходе барина, Никита закурил трубку, попросил хозяйскую

девочку сходить за водкой и весьма скоро перестал плакать, а, напротив, побранился с старухой за какую-то ведерку, которую она ему будто бы раздавила.

«А может быть, только ранят, рассуждал сам с собою штабс-капитан, уже сумерками подходя с ротой к бастиону. Но куда? как? сюда или сюда? – думал он, мысленно указывая на живот и на грудь. – Вот ежели бы сюда – он думал о верхней части ноги – да кругом бы обошла – всё-таки должно быть больно. Ну, а как сюда да осколком – кончено!»

Штабс-капитан, однако, сгибаясь, по траншеям благополучно дошел до ложементов, расставил с саперным офицером, уже в совершенной темноте, людей на работы и сел в ямочку под бруствером. Стрельба была малая; только изредка вспыхивали то у нас, то у *него* молнии, и светящаяся трубка бомбы прокладывала огненную дугу на темном звездном небе. Но все бомбы ложились далеко сзади и справа ложемента, в котором в ямочке сидел штабс-капитан, так что он успокоился отчасти, выпил водки, закусил мыльным сыром, закурил папиросу и, помолвившись Богу, хотел заснуть немного.

## 5.

Князь Гальцин, подполковник Нефердов, юнкер барон Пест, который встретил их на бульваре, и Праскухин, которого никто не звал, с которым никто не говорил, но который не отставал от них, все с бульвара пошли пить чай к Калугину.

– Ну так ты мне не досказал про Ваську Менделя, – говорил Калугин, сняв шинель, сидя около окна, на мягком покойном кресле, и расстегивая воротник чистой крахмальной голландской рубашки, – как же он женился?

– Умора, братец! Je vous dis, il y avait un temps où on ne parlait que de ça à P[étersbour]g,<sup>4</sup> – сказал смеясь Гальцин, вскакивая от фортепьян, у которых он сидел, и садясь на окно подле Калугина: – просто умора. Уж я всё это знаю подробно. И он весело, умно и бойко стал рассказывать какую-то любовную историю, которую мы пропустим потому, что она для нас неинтересна.

Но замечательно то, что не только князь Гальцин, но и все эти господа, расположившись здесь кто на окне, кто задравши ноги, кто за фортепьянами, казались совсем другими людьми, чем на бульваре: не было этой смешной надутости, высокомерности, которые они выказывали пехотным офицерам; здесь они были между своими в натуре, особенно Калугин и Гальцин, очень милыми, простодушными, веселыми и добрыми ребятами. Разговор шел о петербургских сослуживцах и знакомых.

– Что Маслоцкой?

– Который? лейб-улан или конно-гвардеец?

– Я их обоих знаю. Конно-гвардеец при мне мальчишка был, только что из школы вышел. Что старший – ротмистр?

– О! уж давно.

– Что, всё возится с своей цыганкой?

– Нет, бросил, – и т. д. в этом роде.

Потом Гальцин сел к фортепьянам и славно спел цыганскую песенку. Праскухин, хотя никто не просил его, стал вторить и так хорошо, что его уж просили вторить, чему он был очень доволен.

Человек вошел с чаем со сливками и крендельками на серебряном подносе.

– Подай князю, – сказал Калугин.

<sup>4</sup> [Я вам говорю, что одно время только об этом и говорили в Петербурге.]

– А ведь странно подумать, – сказал Гальцин, взяв стакан и отходя к окну, – что мы здесь в осажденном городе: *фортаплясы*, чай со сливками, квартира такая, что я, право, желал бы такую иметь в Петербурге.

– Да уж ежели бы еще этого не было, – сказал всем недовольный, старый подполковник, – просто было бы невыносимо это постоянное ожидание чего-то... видеть, как каждый день бьют, бьют – и всё нет конца, ежели при этом бы жить в грязи и не было удобств.

– А как же наши пехотные офицеры, – сказал Калугин, – которые живут на бастьонах с солдатами, в блиндаже и едят солдатской борщ, – как им-то?

– Вот этого я не понимаю и признаюсь не могу верить, – сказал Гальцин, – чтобы люди в грязном белье, во в[шах] и с неумытыми руками могли бы быть храбры. Этак, знаешь, – *cette belle bravoure de gentilhomme*<sup>5</sup> – не может быть.

– Да они и не понимают этой храбрости, – сказал Праскухин.

– Ну что ты говоришь пустяки, – сердито перебил Калугин, – уж я видел их здесь больше тебя и всегда, и везде скажу, что наши пехотные офицеры, хоть правда во в[шах] и по 10 дней белья не переменяют, а это герои, удивительные люди.

В это время в комнату вошел пехотный офицер.

– Я... мне приказано... я могу ли явиться к ген... к его превосходительству от генерала NN? – спросил он, робея и кланяясь.

Калугин встал, но не отвечая на поклон офицера, с оскорбительной учтивостью и натянутой официальной улыбкой, спросил офицера, не угодно ли *им* подождать и, не попросив его сесть и не обращая на него больше внимания, повернулся к Гальцину и заговорил по-французски, так что бедный офицер, оставшись посередине комнаты, решительно не знал, что делать с своей персоной и руками без перчаток, которые висели перед ним.

– По крайней нужному делу-с, – сказал офицер, после минутного молчания.

– А! так пожалуйста, – сказал Калугин с той же оскорбительной улыбкой, надевая шинель и провожая его к двери.

– Eh bien, messieurs, je crois que cela chauffera cette nuit,<sup>6</sup> – сказал Калугин, выходя от генерала.

– А? что? что? вылазка? – стали спрашивать все.

– Уж не знаю – сами увидите, – отвечал Калугин с таинственной улыбкой.

– Да ты мне скажи, – сказал барон Пест, – ведь ежели есть что-нибудь, так я должен итти с Т. полком на первую вылазку.

– Ну, так и иди с Богом.

– И мой принципал на бастионе, стало-быть и мне надо итти, – сказал Праскухин, надевая саблю, но никто не отвечал ему – он сам должен был знать, итти ли ему или нет.

– Ничего не будет, уж я чувствую, – сказал барон Пест, с замиранием сердца думая о предстоящем деле, но лихо на бок надевая фуражку и громкими твердыми шагами выходя из комнаты, вместе с Праскухиным и Нефердовым, которые тоже с тяжелым чувством страха торопились к своим местам. «Прощайте, господа», – «До свиданья, господа! еще нынче ночью увидимся», – прокричал Калугин из окошка, когда Праскухин и Пест, нагнувшись на луки казачьих седел, должно быть, воображая себя казаками, прорысили по дороге.

– Да, немножко, – прокричал юнкер, который не разобрал, что ему говорили, и топот казачьих лошадок скоро стих в темной улице.

– Non, dites moi, est-ce qu'il y aura véritablement quelque chose cette nuit?<sup>7</sup> – сказал Гальцин, лежа с Калугиным на окошке и глядя на бомбы, которые поднимались над бастионами.

<sup>5</sup> [этой прекрасной храбрости дворянина]

<sup>6</sup> [Ну, господа, нынче ночью, кажется, будет жарко,]

<sup>7</sup> [Нет, скажите: правда, нынче ночью что-нибудь будет?]

– Тебе я могу рассказать – видишь ли – ведь ты был на бастионах? (Гальцин сделал знак согласия, хотя он был только раз на одном 4-м бастионе). Так против нашего люнета была траншея, – и Калугин, как человек неспециальный, хотя и считавший свои военные суждения весьма верными, начал, немного запутанно и перевирая фортификационные выражения, рассказывать положение наших и неприятельских работ и план предполагавшегося дела.

– Однако, начинают попукивать около ложементов. Ого! Это наша или *его*? вон лопнула, – говорили они, лежа на окне, глядя на огненные линии бомб, скрещивающиеся в воздухе, на молнии выстрелов, на мгновение освещавшие темно-синее небо, и белый дым пороха, и прислушиваясь к звукам всё усиливающейся и усиливающейся стрельбы.

– *Quel charmant coup d'œil!*<sup>8</sup> а? – сказал Калугин, обращая внимание своего гостя на это действительно красивое зрелище. – Знаешь, звезды не различишь от бомбы иногда.

– Да, я сейчас думал, что это звезда, а она опустилась, вот лопнула, а эта большая звезда – как ее зовут? – точно как бомба.

– Знаешь, я до того привык к этим бомбам, что, я уверен, в России в звездную, ночь мне будет казаться, что это всё бомбы: так привыкнешь.

– Однако не пойти ли мне на эту вылазку? – сказал князь Гальцин, после минутного молчания, содрогаясь при одной мысли быть *там* во время такой страшной канонады и с наслаждением думая о том, что его ни в каком случае не могут послать туда ночью.

– Полно, братец! и не думай, да и я тебя не пушу, – отвечал Калугин, очень хорошо зная однако, что Гальцин ни за что не пойдет туда. – Еще успеешь, братец!

– Серьезно? Так думаешь, что не надо ходить? А? —

В это время в том направлении, по которому смотрели эти господа, за артиллерийским гулом послышалась ужасная трескотня ружей, и тысячи маленьких огней, беспрестанно вспыхивая, заблестели по всей линии.

– Вот оно когда пошло настоящее! – сказал Калугин. – Этого звука ружейного я слышать не могу хладнокровно, как-то знаешь, за душу берет. Вон и «ура», – прибавил он, прислушиваясь к дальнему протяжному гулу сотен голосов: «а-а-а-а-а-а!» – доносившихся до него с бастиона.

– Чье это «ура»? их или наше?

– Не знаю, но это уж рукопашная пошла, потому что стрельба затихла.

В это время под окном, к крыльцу, подскакал ординарец офицер с казаком и слез с лошади.

– Откуда?

– С бастиона. Генерала нужно.

– Пойдемте. Ну что?

– Атаковали ложементы, – заняли – французы подвели огромные резервы – атаковали наших – было только два батальона, – говорил, запыхавшись, тот же самый офицер, который приходил вечером, с трудом переводя дух, но совершенно развязно направляясь к двери.

– Что ж, отступили? – спросил Гальцин.

– Нет, – сердито отвечал офицер: — подоспел батальон, отбили, но полковой командир убит, офицеров много, приказано просить подкрепления...

И с этими словами он прошел к генералу, куда уже мы не последуем за ним.

Через 5 минут Калугин уже сидел верхом на казачьей лошадке (и опять той особенной quasi-казацкой посадкой, в которой, я замечал, все адъютанты видят почему-то что-то особенно приятное) и рысцой ехал на бастион, с тем чтобы по приказанию генерала передать туда некоторые приказания и дожидаться известий об окончательном результате дела; а князь Гальцин, под влиянием того тяжелого волнения, которое производят обыкновенно близкие при-

<sup>8</sup> [Какой красивый вид!]

знаки дела на зрителя, не принимающего в нем участия, вышел на улицу и без всякой цели стал взад и вперед ходить по ней.

## 6.

Толпы солдат несли на носилках и вели под руки раненых. На улице было совершенно темно; только редко, редко где светились окна в госпитале или у засидевшихся офицеров. С бастионов доносился тот же грохот орудий и ружейной перепалки, и те же огни вспыхивали на черном небе. Изредка слышался топот лошади проскакавшего ординарца, стон раненого, шаги и говор носильщиков или женский говор испуганных жителей, вышедших на крыльцо посмотреть на канонаду.

В числе последних был и знакомый нам Никита, старая матроска, с которой он помирился уже, и 10-ти летняя дочь ее.

– Господи, Мати Пресвятая Богородицы! – говорила в себя и вздыхая старуха, глядя на бомбы, которые, как огненные мячики, беспрестанно перелетали с одной стороны на другую: – страсти-то, страсти какие! И-и-хи-хи. Такого и в первую бандировку не было. Вишь, где лопнула проклятая – прямо над нашим домом в слободке.

– Нет, это дальше, к тетиньке Аринке в сад всё попадают, – сказала девочка.

– И где-то, где-то барин мой таперича? – сказал Никита нараспев и еще пьяный немного. – Уж как я люблю евтого барина своего, так сам не знаю. Он меня бьет, а всё-таки я его ужасно как люблю. Так люблю, что если, избави Бог, да убьют его грешным делом, так, верите ли тетинька, я после евтого сам не знаю, что могу над собой произвести. Ей Богу! Уж такой барин, что одно слово! Разве с евтими сменить, что тут в карты играют – это что – тьфу! одно слово! – заключил Никита, указывая на светящееся окно комнаты барина, в которой, во время отсутствия штабс-капитана, юнкер Жвадческий позвал к себе на кутеж, по случаю получения креста, гостей: подпоручика Угровича и поручика Непшитшетского, того самого, которому надо было итти на бастион и который был нездоров флюсом.

– Звездочки-то, звездочки так и катятся! – глядя на небо, прервала девочка молчание, последовавшее за словами Никиты, – вон, вон еще скатилась! к чему это так? а маынька?

– Совсем разобьют домишко наш, – сказала старуха вздыхая и не отвечая на вопрос девочки.

– А как мы нонче с дяинькой ходили туда, маынька, – продолжала певучим голосом разговарившая девочка, – так большущая такая ядро в самой комнатке подля шкапа лежит: она сенцы видно пробила да в горницу и влетела. Такая большущая, что не поднимешь.

– У кого были мужья, да деньги, так повыехали, – говорила старуха, – а тут – ох горе-то, горе, последний домишко и тот разбили. Вишь как, вишь как палит злодей! Господи, Господи!

– А как нам только выходить, как одна бомба приле-т-и-и-ит, как лопни-и-ит, как засыпи-и-ит землю, так даже чуть-чуть нас с дядинькой одним оскретком не задело.

– Крест ей за это надо, – сказал юнкер, который вместе с офицерами вышел в это время на крыльцо посмотреть на перепалку.

– Ты сходи до генерала, старуха, – сказал поручик Непшитшетский, трепля ее по плечу, – право!

– Pójdę na ulicę zobaczyć, co tam nowego,<sup>9</sup> – прибавил он, спускаясь с лестницы.

– A my tym czasem napijmy siz wódkę, bo coś dusza w pigty usieka,<sup>10</sup> – сказал смеясь веселый юнкер Жвадческий.

<sup>9</sup> Сходить на улицу, узнать, что там новенького.

<sup>10</sup> А мы тем часом кнаксик сделаем, а то что-то уж очень страшно.

## 7.

Всё больше и больше раненых на носилках и пешком, поддерживаемых одних другими и громко разговаривающих между собой, встречалось князю Гальцину.

– Как они подскочили, братцы мои, – говорил басом один высокий солдат, несший два ружья за плечами, – как подскочили, как крикнут: Алла, Алла!<sup>11</sup> так так друг на друга и лезут. Одних бьешь, а другие лезут – ничего не сделаешь. Видимо невидимо... – Но в этом месте рассказа Гальцин остановил его.

– Ты с бастьона?

– Так точно, ваше благородие.

– Ну, что там было? Расскажи.

– Да что было? Подступила их, ваше благородие, *сила*, лезут на вал, да и шабаш. Одолели совсем, ваше благородие!

– Как одолели? да ведь вы отбили же?

– Где тут отбить, когда *его* вся *сила* подошла: перебил всех наших, а сикурсу не подают. – (Солдат ошибался, потому что траншея была за нами, но это – странность, которую всякий может заметить: – солдат, раненый в деле, всегда считает его проигранным и ужасно кровопролитным.)

– Как же мне говорили, что отбили, – с досадой сказал Гальцин.

В это время поручик Непшитшетский, в темноте, по белой фуражке, узнав князя Гальцина и желая воспользоваться случаем, чтобы поговорить с таким важным человеком, подошел к нему.

– Не изволите ли знать, что это такое было? – спросил он учтиво, дотрогиваясь рукою до козырька.

– Я сам спрашиваю, – сказал князь Гальцин и снова обратился к солдату с 2-мя ружьями: – может быть, после тебя отбили? Ты давно оттуда?

– Сейчас, ваше благородие! – отвечал солдат: – вряд ли, должно за ним траншея осталась, – совсем одолел.

– Ну, как вам не стыдно – отдали траншею. Это ужасно! – сказал Гальцин, огорченный этим равнодушием, – как вам не стыдно! – повторил он, отворачиваясь от солдата.

– О! это ужасный народ! вы их не изволите знать, – подхватил поручик Непшитшетский, – я вам скажу, от этих людей ни гордости, ни патриотизма, ни чувства лучше не спрашивайте. Вы вот посмотрите, эти толпы идут, ведь тут десятой доли нет раненых, а то всё *асистенты*, только бы уйти с дела. Подлый народ! – Срам так поступать, ребята, срам! Отдать *нашу* траншею! – добавил он, обращаясь к солдатам.

– Что ж, когда *сила*! – проворчал солдат.

– И! ваши благородия! – заговорил в это время солдат с носилок, поровнявшийся с ними, – как же не отдать, когда перебил всех почитай? Кабы наша сила была, ни в жисть бы не отдали. А то что сделаешь? Я одного заколол, а тут меня как ударит..... О-ох, легче, братцы, ровнее, братцы, ровней иди... о-о-о! – застонал раненый.

– А в самом деле, кажется, много лишнего народа идет, – сказал Гальцин, останавливая опять того же высокого солдата с двумя ружьями. – Ты зачем идешь? Эй, ты, остановись!

Солдат остановился и левой рукой снял шапку.

---

<sup>11</sup> Наши солдаты, воюя с турками, так привыкли к этому крику врагов, что теперь всегда рассказывают, что французы тоже кричат «Алла!»

– Куда ты идешь и зачем? – закричал он на него строго. – Него... – но в это время, совсем вплоть подойдя к солдату, он заметил, что правая рука его была за обшлагом и в крови выше локтя.

– Ранен, ваше благородие!

– Чем ранен?

– Сюда-то, должно, пулей, – сказал солдат, указывая на руку, – а уж здесь не могу знать, чем голову-то прошибло, – и он, нагнув ее, показал окровавленные и слипшиеся волосы на затылке.

– А ружье другое чье?

– Стуцер французской, ваше благородие, отнял; да я бы не пошел, кабы не евтого солдата проводить, а то упадет неравно, прибавил он, указывая на солдата, который шел немного впереди, опираясь на ружье и с трудом таща и передвигая левую ногу.

– А ты где идешь, мерзавец! – крикнул поручик Непшитшетский на другого солдата, который попался ему навстречу, – желая своим рвением прислужиться важному князю. Солдат тоже был ранен.

Князю Гальцину вдруг ужасно стыдно стало за поручика Непшитшетского и еще больше за себя. Он почувствовал, что краснеет – что редко с ним случалось – отвернулся от поручика и, уже больше не спрашивая раненых и не наблюдая за ними, пошел на перевязочный пункт.

С трудом пробившись на крыльце между пешком шедшими ранеными и носильщиками, входившими с ранеными и выходившими с мертвыми, Гальцин вошел в первую комнату, взглянул и тотчас же невольно повернулся назад и выбежал на улицу. Это было слишком ужасно!

## 8.

Большая, высокая темная зала – освещенная только 4 или 5-ю свечами, с которыми доктора подходили осматривать раненых, – была буквально полна. Носильщики беспрестанно вносили раненых, складывали их один подле другого на пол, на котором уже было так тесно, что несчастные толкались и мокли в крови друг друга, и шли за новыми. Лужи крови, видные на местах не занятых, горячее дыхание нескольких сотен человек и испарение рабочих с носилками производили какой-то особенный тяжелый, густой, вонючий смрад, в котором пасмурно горели 4 свечи на различных концах залы. Говор разнообразных стонов, вздохов, хрипений, прерываемый иногда пронзительным криком, носился по всей комнате. Сестры, с спокойными лицами и с выражением не того пустого женского болезненно-слезного сострадания, а деятельного практического участия, то там, то сям, шагая через раненых, с лекарством, с водой, бинтами, корпией, мелькали между окровавленными шинелями и рубахами. Доктора, с мрачными лицами и засученными рукавами, стоя на коленях перед ранеными, около которых фелдшера держали свечи, всовывали пальцы в пульные раны, ощупывая их, и переворачивали отбитые висевшие члены, несмотря на ужасные стоны и мольбы страдальцев. Один из докторов сидел около двери за столиком и в ту минуту, как в комнату вошел Гальцин, записывал уже 532-го.

– Иван Богаев, рядовой 3-й роты С. полка, *fractura femoris complicata*,<sup>12</sup> – кричал другой из конца залы, ощупывая разбитую ногу. – Переверни-ка его.

– О-ой, отцы мои, вы наши отцы! – кричал солдат, умоляя, чтоб его не трогали.

– *Perforatio capitis*.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> [Осложненное раздробление бедра,]

<sup>13</sup> [Прободение черепа.]

– Семен Нефердов, подполковник Н. пехотного полка. Вы немножко потерпите, полковник, а то этак нельзя, я брошу, – говорил третий, ковыряя каким-то крючком в голове несчастного подполковника.

– Ай, не надо! Ой, ради Бога, скорей, скорей, ради... а-а-а-а!

– *Perforatio pectoris...*<sup>14</sup> Севастьян Середа, рядовой... какого полка?..... Впрочем, не пишите: *moritur*.<sup>15</sup> Несите его, – сказал доктор, отходя от солдата, который, закатив глаза, хрипел уже.....

Человек 40 солдат-носильщиков, дожидаясь ноши перевязанных в госпиталь и мертвых в часовню, стояли у дверей и, молча, изредка тяжело вздыхая, смотрели на эту картину.....

.....

## 9.

По дороге к бастиону Калугин встретил много раненых; но, по опыту зная, как в деле дурно действует на дух человека это зрелище, он не только не останавливался расспрашивать их, но напротив старался не обращать на них никакого внимания. Под горой ему попался ординарец, который марш-марш скакал с бастиона.

– Зобкин! Зобкин! постойте на минутку.

– Ну, что?

– Вы откуда?

– Из ложементов.

– Ну как там? жарко?

– Ад! ужасно!

И ординарец поскакал дальше. Действительно, хотя ружейной стрельбы было мало, канонада завязалась с новым жаром и ожесточением.

«Ах, скверно!» подумал Калугин, испытывая какое-то неприятное чувство, и ему тоже пришло предчувствие, т. е. мысль очень обыкновенная – мысль о смерти. Но Калугин был не штабс-капитан Михайлов, он был самолюбив и одарен деревянными нервами, то, что называют, храбр, одним словом. – Он не поддался первому чувству и стал ободрять себя. Вспомнил про одного адъютанта, кажется, Наполеона, который, передав приказание, марш-марш, с окровавленной головой подскакал к Наполеону.

– *Vous êtes blessé?*<sup>16</sup> – сказал ему Наполеон.

– *Je vous demande pardon, sire, je suis tué,*<sup>17</sup> – и адъютант упал с лошади и умер на месте.

Ему показалось это прекрасным, и он вообразил себя даже немножко этим адъютантом, потом ударил лошадь плетью, принял еще более лихую *казацкую посадку*, оглянулся на казака, который, стоя на стременах, рысил за ним, и совершенным молодцом приехал к тому месту, где надо было слезать с лошади. Здесь он нашел 4-х солдат, которые, усевшись на камушки, курили трубки.

– Что вы здесь делаете? – крикнул он на них.

– Раненого отводили, ваше благородие, да отдохнуть присели, – отвечал один из них, пряча за спину трубку и снимая шапку.

– То-то отдохнуть! марш к своим местам, вот я полковому командиру скажу.

И он вместе с ними пошел по траншее в гору, на каждом шагу встречая раненых. Поднявшись в гору, он повернул в траншею налево и, пройдя по ней несколько шагов, очутился

---

<sup>14</sup> [Прободение грудной полости.]

<sup>15</sup> [Умирает.]

<sup>16</sup> [Вы ранены?]

<sup>17</sup> [Извините, государь, я убит.]

совершенно один. Близехонько от него прожужжал осколок и ударился в траншею. – Другая бомба поднялась перед ним и, казалось, летела прямо на него. Ему вдруг сделалось страшно: он рысью пробежал шагов пять и упал на землю. Когда же бомба лопнула и далеко от него, ему стало ужасно досадно на себя, и он встал, оглядываясь, не видал ли кто-нибудь его падения, но никого не было.

Уже раз проникнув в душу, страх нескорю уступает место другому чувству: он, который всегда хвастался, что никогда не нагибается, ускоренными шагами и чуть-чуть не ползком пошел по траншее. «Ах, нехорошо!» подумал он, спотыкнувшись, «непременно убьют», и, чувствуя, как трудно дышалось ему, и как пот выступал по всему телу, он удивлялся самому себе, но уже не покушался преодолеть своего чувства.

Вдруг чьи-то шаги послышались впереди его. Он быстро разогнулся, поднял голову и, бодро побрякивая саблей, пошел уже не такими скорыми шагами, как прежде. Он не узнавал себя. Когда он сошелся с встретившимся ему саперным офицером и матросом, и первый крикнул ему: «ложитесь!» указывая на светлую точку бомбы, которая, светлее и светлее, быстрее и быстрее приближаясь, шлепнулась около траншеи, он только немного и невольно, под влиянием испуганного крика, нагнул голову и пошел дальше.

– Вишь, какой бравый! – сказал матрос, который преспокойно смотрел на падавшую бомбу и опытным глазом сразу расчел, что осколки ее не могут задеть в траншее: – и ложиться не хочет.

Уже несколько шагов только оставалось Калугину перейти через площадку до блиндажа командира бастиона, как опять на него нашло затмение и этот глупый страх; сердце забилося сильнее, кровь хлынула к голове, и ему нужно было усилие над собою, чтобы пробежать до блиндажа.

– Что вы так запыхались? – сказал генерал, когда он ему передал приказания.

– Шел скоро очень, ваше превосходительство!

– Не хотите ли вина стакан?

Калугин выпил стакан вина и закурил папиросу. Дело уже прекратилось, только сильная канонада продолжалась с обеих сторон. В блиндаже сидел генерал NN, командир бастиона и еще человек 6 офицеров, в числе которых был и Праскухин, и говорили про разные подробности дела. Сидя в этой уютной комнатке, обитой голубыми обоями, с диваном, кроватью, столом, на котором лежат бумаги, стенными часами и образом, перед которым горит лампадка, глядя на эти признаки жилья и на толстые аршинные балки, составлявшие потолок, и слушая выстрелы, казавшиеся слабыми в блиндаже, Калугин решительно понять не мог, как он два раза позволил себя одолеть такой непростительной слабости; он сердился на себя, и ему хотелось опасности, чтобы снова испытать себя.

– А вот я рад, что и вы здесь, капитан, – сказал он морскому офицеру, в штаб-офицерской шинели, с большими усами и Георгием, который вошел в это время в блиндаж и просил генерала дать ему рабочих, чтобы исправить на его батарее две амбразуры, которые были засыпаны. – Мне генерал приказал узнать, – продолжал Калугин, когда командир батареи перестал говорить с генералом, – могут ли ваши орудия стрелять по траншее картечью?

– Одно только орудие может, – угрюмо отвечал капитан.

– Всё-таки пойдёмте, посмотрим.

Капитан нахмурился и сердито крякнул.

– Уж я всю ночь там простоял, пришел хоть отдохнуть немного, – сказал он: – нельзя ли вам одним сходить? там мой помощник, лейтенант Карц, вам всё покажет.

Капитан уже 6 месяцев командовал этой одной из самых опасных батарей, – и даже, когда не было блиндажей, – не выходя, с начала осады жил на бастионе и между *моряками* имел репутацию храбрости. Поэтому-то отказ его особенно поразил и удивил Калугина.

«Вот репутации!» подумал он.

– Ну, так я пойду один, если вы позволите, – сказал он несколько насмешливым тоном капитану, который, однако, не обратил на его слова никакого внимания.

Но Калугин не сообразил того, что он в разные времена всего-на-всего провел часов 50 на бастионах, тогда как капитан жил там 6 месяцев. Калугина еще возбуждали тщеславие – желание блеснуть, надежда на награды, на репутацию и прелесть риска; капитан же уж прошел через всё это – сначала тщеславился, храбрился, рисковал, надеялся на награды и репутацию и даже приобрел их, но теперь уже все эти побудительные средства потеряли для него силу, и он смотрел на дело иначе: исполнял в точности свою обязанность, но, хорошо понимая, как мало ему оставалось случайностей жизни, после 6-ти месячного пребывания на бастионе, уже не рисковал этими случайностями без строгой необходимости, так что молодой лейтенант, с неделю тому назад поступивший на батарею и показывавший теперь ее Калугину, с которым они бесполезно друг перед другом высывались в амбразуры и вылезали на банкеты, казался в десять раз храбрее капитана.

Осмотрев батарею и направляясь назад к блиндажу, Калугин наткнулся в темноте на генерала, который с своими ординарцами шел на вышку.

– Ротмистр Праскухин! – сказал генерал: – сходите пожалуйста в правый ложемент и скажите 2-му батальону М. полка, который там на работе, чтоб он оставил работу, не шумя вышел оттуда и присоединился бы к своему полку, который стоит под горой в резерве. Понимаете? Сами отведите к полку.

– Слушаю-с.

И Праскухин рысью побежал к ложементу. Стрельба становилась реже.

## 10.

– Это 2-й батальон М. полка? – спросил Праскухин, прибежав к месту и наткнувшись на солдата, который в мешке на спине нес землю.

– Так точно-с.

– Где командир?

Михайлов, полагая, что спрашивают ротного командира, вылез из своей ямочки и, принимая Праскухина за начальника руку к козырьку, подошел к нему.

– Генерал приказал.... вам.. извольте итти..... поскорей.. и главное потише... назад, не назад, а к резерву, – говорил Праскухин, искоса поглядывая по направлению огней неприятеля.

Узнав Праскухина, опустив руку и разобрав в чем дело, Михайлов передал приказанье, и батальон весело зашевелился, забрал ружья, надел шинели и двинулся.

Кто не испытал, тот не может вообразить себе того наслаждения, которое ощущает человек, уходя, после 3-х часов бомбардирования, из такого опасного места, как ложементы. Михайлов, в эти три часа уже несколько раз считавший свой конец неизбежным и несколько раз успевший перецеловать все образа, которые были на нем, под конец успокоился немного, под влиянием того убеждения, что ежели так много бомб и ядер пролетело, не задев его, отчего же теперь заденет? Несмотря ни на что однако, ему большого труда стоило удержать свои ноги, чтобы они не бежали, когда он перед ротой, рядом с Праскухиным, вышел из ложментов.

– До свидания, – сказал ему майор, командир другого батальона, который оставался в ложементах, и с которым они вместе закусывали мыльным сыром, сидя в ямочке около бруствера: – счастливого пути.

– И вам желаю счастливо отстоять; теперь, кажется, затихло.

Но только что он успел сказать это, как неприятель, должно быть заметив движение в ложементах, стал палить чаще и чаще. Наши стали отвечать ему, и опять поднялась сильная канонада. Звезды высоко, но не ярко блестели на небе; ночь была темна, – хоть глаз выколи, – только огни выстрелов и разрыва бомб мгновенно освещали предметы. Солдаты шли скоро и

молча и невольно перегоняя друг друга; только слышны были за беспрестанными раскатами выстрелов мерный звук их шагов по сухой дороге, звук столкнувшихся штыков или вздох и молитва какого-нибудь робкого солдата: – «Господи, Господи! что это такое!» Иногда поражал стон раненого и крик: «носилки!» (В роте, которой командовал Михайлов, от одного артиллерийского огня выбыло в ночь 26 человек.) Вспыхивала молния на мрачном далеком горизонте, часовой с бастиона кричал: «пу-ушка!» и ядро, жужжа над ротой, взрывало землю и взбрасывало камни.

«Чорт возьми! как они тихо идут – думал Праскухин, беспрестанно оглядываясь назад, шагая подле Михайлова, – право, лучше побегу вперед, ведь я передал приказанье... Впрочем нет, ведь эта скотина может рассказывать потом, что я трус, почти так же, как я вчера про него рассказывал. Что будет, то будет – пойду рядом».

«И зачем он идет со мной, – думал с своей стороны Михайлов, – сколько я ни замечал, он всегда приносит несчастье; вот она еще летит прямо сюда, кажется».

Пройдя несколько сот шагов, они столкнулись с Калугиным, который, бодро, побрякивая саблей, шел к ложментам с тем, чтобы, по приказанию генерала, узнать, как подвинулись там работы. Но, встретив Михайлова, он подумал, что, чем ему самому под этим страшным огнем идти туда, чего и не было ему приказано, он может расспросить всё подробно у офицера, который был там. И действительно Михайлов подробно рассказал про работы, хотя во время рассказа и не мало позабавил Калугина, который, казалось, никакого внимания не обращал на выстрелы, – тем, что при каждом снаряде, иногда падавшем и весьма далеко, присядал, нагибал голову и всё уверял, что «это прямо сюда».

– Смотрите, капитан, это прямо сюда, – сказал, подшучивая, Калугин и толкая Праскухина. Пройдя еще немного с ними, он повернул в траншею, ведущую к блиндажу. – «Нельзя сказать, чтобы он был очень храбр, – этот капитан», – подумал он, входя в двери блиндажа.

– Ну, что новенького? – спросил офицер, который, ужиная, один сидел в комнате.

– Да ничего, кажется, что уж больше не будет.

– Как не будет? напротив, генерал сейчас опять пошел на вышку. Еще полк пришел. Да вот она, слышите? опять пошла ружейная. Вы не ходите. Зачем вам? – прибавил офицер, заметив движение, которое сделал Калугин.

«А мне, по настоящему, непременно надо там быть, – подумал Калугин, – но уж я и так нынче много подвергал себя. Надеюсь, что я нужен не для одной chair à canon».<sup>18</sup>

– И в самом деле я их лучше тут подожду, – сказал он.

Действительно минут через 5 генерал вернулся вместе с офицерами, которые были при нем; в числе их был и юнкер барон Пест, но Праскухина не было.

Ложементы были отбиты и заняты нами.

Получив подробные сведения о деле, Калугин вместе с Пестом, вышел из блиндажа.

## 11.

– У тебя шинель в крови: неужели ты дрался в рукопашном? – спросил его Калугин.

– Ах, братец, ужасно! можешь себе представить... И Пест стал рассказывать, как он вел всю роту, как ротный командир [был] убит, как он заколол француза и что, ежели бы не он, то ничего бы не было и т. д.

Основания этого рассказа, что ротный командир был убит, и что Пест убил француза, были справедливы; но, передавая подробности, юнкер выдумывал и хвастал.

Хвастал невольно, потому что во время всего дела находясь в каком-то тумане и забытии до такой степени, что всё, что случилось, казалось ему случившимся где-то, когда-то и с кем-то,

<sup>18</sup> [пушечное мясо.]

очень естественно, он старался воспроизвести эти подробности с выгодной для себя стороны. Но вот как это было действительно.

Батальон, к которому прикомандирован был юнкер для вылазки, часа два под огнем стоял около какой-то стенки, потом батальонный командир впереди сказал что-то, ротные командиры зашевелились, батальон тронулся, вышел из-за бруствера и, пройдя шагов 100, остановился, построившись в ротные колонны. Песту сказали, чтобы он стал на правом фланге 2-й роты.

Решительно не отдавая себе отчета, где и зачем он был, юнкер стал на место и с невольной сдержанностью и холодным дрожью, пробегавшей по спине, бессознательно смотрел вперед в темную даль, ожидая чего-то страшного. Ему впрочем не столько страшно было, потому что стрельбы не было, сколько дико, странно [было] подумать, что он находился вне крепости, в поле. Опять батальонный командир впереди сказал что-то. Опять шопотом заговорили офицеры, передавая приказания, и черная стена первой роты вдруг опустилась. Приказано было лечь. Вторая рота легла также, и Пест, ложась, наколот руку на какую-то колючку. Не лег только один командир 2-й роты, его невысокая фигура, с вынутой шпагой, которой он размахивал, не переставая говорить, двигалась перед ротой.

– Ребята! смотри, молодцами у меня! С ружьем не палить, а штыками е..... их м... Когда я крикну «ура!» за мной и не отставать е..... вашу м..... Дружной, главное дело... покажем себя, не ударим лицом в грязь, а, ребята? За царя, за батюшку! – говорил он, пересыпая свои слова ругательствами и ужасно размахивая руками.

– Как фамилия нашего ротного командира? – спросил Пест у юнкера, который лежал рядом с ним, – какой он храбрый!

– Да, как в дело, всегда – мертвецки, – отвечал юнкер, – Лисинковский его фамилия.

В это время перед самой ротой мгновенно вспыхнуло пламя, раздался ужаснейший треск, оглушил всю роту, и высоко в воздухе зашуршели камни и осколки (по крайней мере секунд через 50 один камень упал сверху и отбил ногу солдату). Это была бомба с *элевационного станка*, и то, что она попала в роту, доказывало, что французы заметили колонну.

– Бомбами пускать! сук[ин] сын е..... твою м... Дай только добраться, тогда попробуешь штыка трехгранного русского, проклятый! – заговорил ротный командир так громко, что батальонный командир должен был приказать ему молчать и не шуметь так много.

Вслед за этим первая рота встала, за ней вторая – приказано было взять ружья на перевес, и батальон пошел вперед. Пест был в таком страхе, что он решительно не помнил, долго ли? куда? и кто, на что? Он шел, как пьяный. Но вдруг со всех сторон заблестело миллион огней, засвистело, затрещало что-то; он закричал и побежал куда-то, потому что все бежали и все кричали. Потом он спотыкнулся и упал на что-то – это был ротный командир (который был ранен впереди роты и, принимая юнкера за француза, схватил его за ногу). Потом, когда он вырвал ногу и приподнялся, на него в темноте спиной наскочил какой-то человек и чуть опять не сбил с ног, другой человек кричал: «*коли его! что смотришь?*» Кто-то взял ружье и воткнул штык во что-то мягкое. «*A moi, camarades! Ah, sacré b..... Ah! Dieu!*»<sup>19</sup> – закричал кто-то страшным пронзительным голосом, и тут только Пест понял, что он заколол француза. Холодный пот выступил у него по всему телу, он затрясся, как в лихорадке, и бросил ружье. Но это продолжалось только одно мгновение; ему тотчас же пришло в голову, что он герой. Он схватил ружье и, вместе с толпой, крича «ура», побежал прочь от убитого француза, с которого тут же солдат стал снимать сапоги. Пробежав шагов 20, он прибежал в траншею. Там были наши и батальонный командир.

– А я заколол одного! – сказал он батальонному командиру.

– Молодцом, барон .....

<sup>19</sup> [«Ко мне, товарищи! О, черт! О, Господи!»]

.....

## 12.

- А, знаешь, Праскухин убит, – сказал Пест, провожая Калугина, который шел к дому.
- Не может быть!
- Как же, я сам его видел.
- Прощай, однако, мне надо скорее.

«Я очень доволен, – думал Калугин, возвращаясь к дому, – в первый раз на мое дежурство счастье. Отличное дело, я – жив и цел, – представления будут отличные, и уж непременно золотая сабля. Да, впрочем, я и стою ее».

Доложив генералу всё, что нужно было, он пришел в свою комнату, в которой, уже давно вернувшись и дожидаясь его, сидел князь Гальцин, читая «*Splendeur et misères des courtisanes*»,<sup>20</sup> которую нашел на столе Калугина.

С удивительным наслаждением Калугин почувствовал себя дома, вне опасности, и, надев ночную рубашку, лежа в постели уж рассказал Гальцину подробности дела, передавая их весьма естественно, – с той точки зрения, с которой подробности эти доказывали, что он, Калугин, весьма дельный и храбрый офицер, на что, мне кажется, излишне бы было намекать, потому что это все знали и не имели никакого права и повода сомневаться, исключая, может быть, покойника ротмистра Праскухина, который, несмотря на то, что, бывало, считал за счастье ходить под руку с Калугиным, вчера только по секрету рассказывал одному приятелю, что Калугин очень хороший человек, но, между нами будь сказано, ужасно не любит ходить на бастионы.

Только что Праскухин, идя рядом с Михайловым, разошелся с Калугиным и, подходя к менее опасному месту, начинал уже оживать немного, как он увидел молнию, ярко блеснувшую сзади себя, услышал крик часового: «маркела!» и слова одного из солдат, шедших сзади: «как раз на батальон прилетит!» Михайлов оглянулся. Светлая точка бомбы, казалось, остановилась на своем зените – в том положении, когда решительно нельзя определить ее направления. Но это продолжалось только мгновение: бомба быстрее и быстрее, ближе и ближе, так что уже видны были искры трубки, и слышно роковое посвистывание, опускалась прямо в середину батальона.

- Ложись! – крикнул чей-то испуганный голос.

Михайлов упал на живот. Праскухин невольно согнулся до самой земли и зажмурился; он слышал только, как бомба где-то очень близко шлепнулась на твердую землю. Прошла секунда, показавшаяся часом – бомбу не рвало. Праскухин испугался, не напрасно ли он струсил, – может быть, бомба упала далеко, и ему только казалось, что трубка шипит тут же. Он открыл глаза и с самолюбивым удовольствием увидел, что Михайлов, которому он должен 12 р. с полтиной, гораздо ниже и около самых ног его, недвижимо, прижавшись к нему, лежал на брюхе. Но тут же глаза его на мгновение встретились с светящейся трубкой, в аршине от него, крутившейся бомбы.

Ужас – холодный, исключаяющий все другие мысли и чувства ужас – объял всё существо его; он закрыл лицо руками и упал на колена.

Прошла еще секунда, – секунда, в которую целый мир чувств, мыслей, надежд, воспоминаний промелькнул в его воображении.

«Кого убьет – меня или Михайлова? Или обоих вместе? А коли меня, то куда? в голову, так всё кончено; а ежели в ногу, то отрежут, и я попрошу, чтобы непременно с хлороформом, –

---

<sup>20</sup> [«Роскошь и убожество куртизанок,» роман Бальзака]. Одна из тех милых книг, которых развелось такая пропасть в последнее время и которые пользуются особенной популярностью почему-то между нашей молодежью.

и я могу еще жив остаться. А может быть одного Михайлова убьет, тогда я буду рассказывать, как мы рядом шли, его убило и меня кровью забрызгало. Нет, ко мне ближе – меня. Тут он вспомнил про 12 р., которые был должен Михайлову, вспомнил еще про один долг в Петербурге, который давно надо было заплатить; цыганский мотив, который он пел вечером, пришел ему в голову; женщина, которую он любил, явилась ему в воображении, в чепце с лиловыми лентами; человек, которым он был оскорблен 5 лет тому назад, и которому не отплатил за оскорбление, вспомнился ему, хотя вместе, нераздельно с этими и тысячами других воспоминаний, чувство настоящего – ожидания смерти и ужаса – ни на мгновение не покидало его. «Впрочем, может быть, не лопнет» – подумал он и с отчаянной решимостью хотел открыть глаза. Но в это мгновение, еще сквозь закрытые веки, его глаза поразили красный огонь, и с страшным треском что-то толкнуло его в середину груди; он побежал куда-то, спотыкнулся на подвернувшуюся под ноги саблю и упал на бок.

«Слава Богу! я только контужен» – было его первую мыслью, и он хотел руками дотронуться до груди – но руки его казались привязанными, и какие-то тиски сдавливали голову. В глазах его мелькали солдаты – и он бессознательно считал их: «один, два, три солдата, а вот в подвернутой шинели офицер», думал он; потом молния блеснула в его глазах, и он думал, из чего это выстрелили: из мортиры или из пушки? Должно быть из пушки, а вот еще выстрелили, а вот еще солдаты – пять, шесть, семь солдат, идут всё мимо. Ему вдруг стало страшно, что они раздавят его; он хотел крикнуть, что он контужен, но рот был так сух, что язык прилип к нёбу, и ужасная жажда мучала его. Он чувствовал, как мокро было у него около груди – это ощущение мокроты напоминало о воде, и ему хотелось бы даже выпить то, чем это было мокро. «Верно, я в кровь разбился, как упал», – подумал он и, всё более и более начиная поддаваться страху, что солдаты, которые продолжали мелькать мимо, раздавят его, он собрал все силы и хотел закричать: «возьмите меня», но вместо этого застонал так ужасно, что ему страшно стало, слушая себя. Потом какие-то красные огни запрыгали у него в глазах, – и ему показалось, что солдаты кладут на него камни; огни всё прыгали реже и реже, камни, которые на него накладывали, давили его больше и больше. Он сделал усилие, чтобы раздвинуть камни, вытянулся и уже больше ничего не видел, не слышал, не думал и не чувствовал. Он был убит на месте осколком в середину груди.

### 13.

Михайлов, увидав бомбу, упал на землю и так же зажмурился, так же два раза открывал и закрывал глаза и так же, как и Праскухин, необъятно много передумал и перечувствовал в эти две секунды, во время которых бомба лежала неразорванной. Он мысленно молился Богу и всё твердил: «Да будет воля Твоя! И зачем я пошел в военную службу, – вместе с тем думал он – и еще перешел в пехоту, чтобы участвовать в кампании; не лучше ли было мне оставаться в уланском полку в городе Т., проводить время с моим другом Наташей..... а теперь вот что!» И он начал считать: раз, два, три, четыре, загадывая, что ежели разорвет в чет, то он будет жив, – в нечет, то будет убит. «Всё кончено! – убит!» – подумал он, когда бомбу разорвало (он не помнил, в чет или нечет), и он почувствовал удар и жестокую боль в голове. «Господи, прости мои согрешения!», проговорил он, всплеснув руками, приподнялся и без чувств упал навзничь.

Первое ощущение, когда он очнулся, была кровь, которая текла по носу, и боль в голове, становившаяся гораздо слабее. «Это душа отходит, – подумал он, – что будет там? Господи! прими дух мой с миром. Только одно странно, – рассуждал он, – что, умирая, я так ясно слышу шаги солдат и звуки выстрелов».

– Давай носилки – эй! ротного убило! – крикнул над его головой голос, который он невольно узнал за голос барабанщика Игнатьева.

Кто-то взял его за плечи. Он попробовал открыть глаза и увидел над головой темно-синее небо, группы звезд и две бомбы, которые летели над ним, догоняя одна другую, увидел Игнатьева, солдат с носилками и ружьями, вал траншеи и вдруг поверил, что он еще не на том свете.

Он был камнем легко ранен в голову. Самое первое впечатление его было как будто сожаление: он так было хорошо и спокойно приготовился к переходу *туда*, что на него неприятно подействовало возвращение к действительности, с бомбами, траншеями, солдатами и кровью; второе впечатление его была бессознательная радость, что он жив, и третье – страх и желание уйти поскорее с бастьона. Барабанщик платком завязал голову своему командиру и, взяв его под руку, повел к перевязочному пункту.

«Куда и зачем я иду, однако?» – подумал штабс-капитан, когда он опомнился немного. – «Мой долг оставаться с ротой, а не уходить вперед, тем более, что и рота скоро выйдет из-под огня, – шепнул ему какой-то голос, – а с раной остаться в деле – непременно награда.

– Не нужно, братец, – сказал он, вырывая руку от услужливого барабанщика, которому главное самому хотелось поскорее выбраться отсюда, – я не пойду на перевязочный пункт, а останусь с ротой.

И он повернул назад.

– Вам бы лучше перевязаться, ваше благородие, как следует, – сказал робкий Игнатьев: – ведь это сгоряча она только оказывает, что ничего, а то хуже бы не сделать, ведь тут вон какая жарня идет... право, ваше благородие.

Михайлов остановился на минуту в нерешительности и, кажется, последовал бы совету Игнатьева, ежели бы не вспомнилась ему сцена, которую он на-днях видел на перевязочном пункте: офицер с маленькой царапиной на руке пришел перевязываться, и доктора улыбались, глядя на него и даже один – с бакенбардами – сказал ему, что он никак не умрет от этой раны, и что вилкой можно больней уколоться.

– Может быть, так же недоверчиво улыбнутся и моей ране, да еще скажут что-нибудь, – подумал штабс-капитан и решительно, несмотря на доводы барабанщика, пошел назад к роте.

– А где ординарец Праскухин, который шел со мной? – спросил он прапорщика, который вел роту, когда они встретились.

– Не знаю, убит, кажется, – неохотно отвечал прапорщик, который, между прочим, был очень недоволен, что штабс-капитан вернулся и тем лишил его удовольствия сказать, что он один офицер остался в роте.

– Убит или ранен? как же вы не знаете, ведь он с нами шел. И отчего вы его не взяли?

– Где тут было брать, когда жарня этакая!

– Ах, как же вы это, Михал Иванович, – сказал Михайлов сердито: – как же бросить, ежели он жив; да и убит, так всё-таки тело надо было взять, – как хотите, ведь он ординарец генерала и еще жив, может.

– Где жив, когда я вам говорю, я сам подходил и видел, – сказал прапорщик. – Помилуйте! только бы своих уносить. Вон стерва! ядрами теперь стал пускать, – прибавил он, присядая. Михайлов тоже присел и схватился за голову, которая от движенья ужасно заболела у него.

– Нет, непременно надо сходить взять: может быть, он еще жив, – сказал Михайлов. – Это наш *долг*, Михайло Иваныч!

Михайло Иваныч не отвечал.

«Вот ежели бы он был хороший офицер, он бы взял тогда, а теперь надо солдат посылать одних; а и посылать как? под этим страшным огнем могут убить задаром», – думал Михайлов.

– Ребята! надо сходить назад – взять офицера, что ранен там в канаве, – сказал он не слишком громко и повелительно, чувствуя, как неприятно будет солдатам исполнять это приказанье, – и действительно, так как он ни к кому именно не обращался, никто не вышел, чтобы исполнить его.

– Унтер-офицер! поди сюда.

Унтер-офицер, как будто не слыша, продолжал идти на своем месте.

«И точно, может, он уже умер и *не стоит* подвергать людей напрасно, а виноват один я, что не позаботился. Схожу сам, узнаю, жив ли он. Это мой *долг*», – сказал сам себе Михайлов.

– Михал Иваныч! ведите роту, а я вас догоню, – сказал он и, одной рукой подобрал шинель, другой рукой дотрагиваясь беспрестанно до образа Митрофания угодника, в которого он имел особенную веру, почти ползком и дрожа от страха, рысью побежал по траншее.

Убедившись в том, что товарищ его был убит, Михайлов так же пыхтя, присядая и придерживая рукой сбившуюся повязку и голову, которая сильно начинала болеть у него, потащился назад. Батальон уже был под горой на месте и почти вне выстрелов, когда Михайлов догнал его. – Я говорю: *почти* вне выстрелов, потому что изредка залетали и сюда шальные бомбы (осколком одной в эту ночь убит один капитан, который сидел во время дела в матросской землянке).

«Однако, надо будет завтра сходить на перевязочный пункт записаться», – подумал штабс-капитан, в то время как пришедший фельдшер перевязывал его, – «это поможет к представлению».

## 14.

Сотни свежих окровавленных тел людей, за 2 часа тому назад полных разнообразных, высоких и мелких надежд и желаний, с окоченелыми членами, лежали на росистой цветущей долине, отделяющей бастион от траншеи, и на ровном полу часовни Мертвых в Севастополе; сотни людей с проклятиями и молитвами на пересохших устах – ползали, ворочались и стонали, – одни между трупами на цветущей долине, другие на носилках, на койках и на окровавленном полу перевязочного пункта; а всё так же, как и в прежние дни, загорелась зарница над Сапун-горою, побледнели мерцающие звезды, потянул белый туман с шумящего темного моря, зажглась алая заря на востоке, разбежались багровые длинные тучки по светло-лазурному горизонту, и всё так же, как и в прежние дни, обещая радость, любовь и счастье всему ожившему миру, выплыло могучее, прекрасное светило.

## 15.

На другой день вечером опять егерская музыка играла на бульваре, и опять офицеры, юнкера, солдаты и молодые женщины празднично гуляли около павильона и по нижним дорожкам из цветущих душистых белых акаций.

Калугин, князь Гальцин и какой-то полковник ходили под руки около павильона и говорили о вчерашнем деле. – Главную путеводительную нитью разговора, как это всегда бывает в подобных случаях, было не самое дело, а то участие, которое принимал, и храбрость, которую выказал рассказывающий в деле. Лица и звук голосов их имели серьезное, почти печальное выражение, как будто потери вчерашнего дела сильно трогали и огорчали каждого, но, сказать по правде, так как никто из них не потерял очень близкого человека (да и бывают ли в военном быту очень близкие люди?), это выражение печали было выражение официальное, которое они только считали обязанностью выказывать. Напротив, Калугин и полковник были бы готовы каждый день видеть такое дело, с тем, чтобы только каждый раз получать золотую саблю и генерал-майора, несмотря на то, что они были прекрасные люди. Я люблю, когда называют извергом какого-нибудь завоевателя, для своего честолюбия губящего миллионы. Да спросите по совести прапорщика Петрушова и поручика Антонова и т. д., всякий из них маленький Наполеон, маленький изверг и сейчас готов затеять сражение, убить человек сотню для того только, чтоб получить лишнюю звездочку или треть жалованья.

– Нет, извините, – говорил полковник, – прежде началось на левом фланге. *Ведь я был там.*

– А, может быть, – отвечал Калугин, – *я больше был на правом; я два раза туда ходил: один раз отыскивал генерала, а другой раз так, посмотреть ложементы пошел. Вот где жарко было.*

– Да уж верно Калугин знает, – сказал полковнику кн. Гальцин, – ты знаешь, *мне* нынче В... про тебя говорил, что ты молодец.

– Потери только, потери ужасные, – сказал полковник тоном официальной печали: – *У меня в полку 400 человек выбыло. – Удивительно, как я жив вышел оттуда.*

В это время навстречу этим господам, на другом конце бульвара, показалась лиловатая фигура Михайлова на стоптанных сапогах и с повязанной головой. Он очень сконфузился, увидав их: ему вспомнилось, как он вчера присядал перед Калугиным, и пришло в голову, как бы они не подумали, что он притворяется раненым. Так что ежели бы эти господа не смотрели на него, то он бы сбежал вниз и ушел бы домой с тем, чтобы не выходить до тех пор, пока можно будет снять повязку.

– *Il fallait voir dans quel état je l'ai rencontré hier sous le feu,*<sup>21</sup> улыбнувшись сказал Калугин в то время, как они сходились.

– Что, вы ранены, капитан? – сказал Калугин с улыбкой, которая значила: – «что вы видели меня вчера? каков я?»

– Да, немножко, камнем, – отвечал Михайлов, краснея и с выражением на лице, которое говорило: «видел и признаюсь, что вы молодец, а я очень, очень плох».

– *Est-ce que le pavillon est baissé déjà?*<sup>22</sup> – спросил кн. Гальцин опять с своим высокомерным выражением, глядя на фуражку штабс-капитана и не обращаясь ни к кому в особенности.

– *Non pas encore,*<sup>23</sup> – отвечал Михайлов, которому хотелось показать, что он знает и поговорить по-французски.

– Неужели продолжается еще перемирие? – сказал Гальцин, учтиво обращаясь к нему по-русски и тем говоря – как это показалось штабс-капитану – что вам, должно быть, тяжело будет говорить по-французски, так не лучше ли уж просто?.. И с этим адъютанты отошли от него.

Штабс-капитан так же, как и вчера, почувствовал себя чрезвычайно одиноким и, поклонившись с разными господами – с одними не желая сходить, а к другим не решаясь подойти – сел около памятника Казарского и закурил папиросу.

Барон Пест тоже пришел на бульвар. Он рассказывал, что был на перемирии и говорил с французскими офицерами, как-будто бы один французский офицер сказал ему: «*S'il n'avait pas fait clair encore pendant une demi heure, les embuscades auraient été reprises,*»<sup>24</sup> и как он отвечал ему: «*Monsieur! Je ne dit pas non, pour ne pas vous donner un dementi,*»<sup>25</sup> и как это хорошо он сказал и т. д.

В сущности же, хотя и был на перемирии, он не успел сказать там ничего очень умного, хотя ему и ужасно хотелось поговорить с французами (ведь это ужасно весело говорить с французами). Юнкер барон Пест долго ходил по линии и всё спрашивал французов, которые были близко к нему: «*de quel régiment êtes-vous?*»<sup>26</sup> Ему отвечали и больше ничего. Когда же он зашел слишком далеко за линию, то французской часовой, не подозревая, что этот солдат знает по-французски, в третьем лице выругал его. «*Il vient regarder nos travaux ce sacré s.....*»<sup>27</sup> сказал он.

<sup>21</sup> [Надо было видеть, в каком состоянии я его встретил вчера под огнем.]

<sup>22</sup> [Разве флаг уже спущен?]

<sup>23</sup> [Нет еще.]

<sup>24</sup> [Если бы еще полчаса было темно, ложементы были бы вторично взяты.]

<sup>25</sup> [Я не говорю нет, только чтобы вам не противоречить.]

<sup>26</sup> [Какого вы полка?]

<sup>27</sup> [Он идет смотреть наши работы, этот проклятый...]

Вследствие чего, не находя больше интереса на перемирии, юнкер барон Пест поехал домой и уже дорогой придумал те французские фразы, которые теперь рассказывал. На бульваре были и поручик Зобов, который громко разговаривал, и капитан Обжогов в растерзанном виде, и артиллерийский капитан, который ни в ком не заискивает, и счастливый в любви юнкер, и все те же вчерашние лица и всё с теми же вечными побуждениями лжи, тщеславия и легкомыслия. Недоставало только Праскухина, Нефердова и еще кой-кого, о которых здесь едва ли помнил и думал кто-нибудь теперь, когда тела их еще не успели быть обмыты, убраны и зарыты в землю, и о которых через месяц точно так же забудут отцы, матери, жены, дети, ежели они были, или не забыли про них прежде.

– А я его не узнал было, старика-то, – говорит солдат на уборке тел, за плечи поднимая перебитый в груди труп с огромной раздувшейся головой, почернелым глянцево-красным лицом и вывернутыми зрачками, – под спину берись, Морозка, а то, как бы не перервался. Ишь, дух скверный!»

«Ишь, дух скверный!» – вот всё, что осталось между людьми от этого человека.....

## 16.

На нашем бастионе и на французской траншее выставлены белые флаги, и между ними в цветущей долине, кучками лежат без сапог, в серых и синих одеждах, изуродованные трупы, которые сносят рабочие и накладывают на повозки. Ужасный тяжелый запах мертвого тела наполняет воздух. Из Севастополя и из французского лагеря толпы народа высypали смотреть на это зрелище и с жадным и благосклонным любопытством стремятся одни к другим.

Послушайте, что говорят между собой эти люди.

Вот в кружке собравшихся около него русских и французов, молоденькой офицер, хотя плохо, но достаточно хорошо, чтоб его понимали, говорящий по-французски, рассматривает гвардейскую сумку.

– Э сеси пуркуа се уазо иси? – говорит он.

– Parce que c'est une giberne d'un régiment de la garde, Monsieur, qui porte l'aigle impérial.

– Э ву де ла гард?

– Pardon, Monsieur, du 6-ème de ligne.

– Э сеси у аште?<sup>28</sup> – спрашивает офицер, указывая на деревянную желтую сигарочницу, в которой француз курит папиросу.

– А Balaclave, Monsieur! C'est tout simple – en bois de palme.<sup>29</sup>

– Жоли! – говорит офицер, руководимый в разговоре не собственным произволом, но теми словами, которые он знает.

– Si vous voulez bien garder cela comme souvenir de cette rencontre, vous m'obligerez.<sup>30</sup> И учтивый француз выдувает папироску и подает офицеру сигарочницу с маленьким поклоном. Офицер дает ему свою, и все присутствующие в группе как французы, так и русские кажутся очень довольными и улыбаются.

Вот пехотный бойкий солдат, в розовой рубашке и шинели в накидку, в сопровождении других солдат, которые, руки за спину, с веселыми, любопытными лицами, стоят за ним, подошел к французу и попросил у него огня закурить трубку. Француз разжигает и расковыривает трубочку и высыпает огня русскому.

<sup>28</sup> [– Почему эта птица здесь?– Потому что это сумка гвардейского полка; у него императорский орел.– А вы из гвардии?– Нет, шестого линейного.– А это где купили?]

<sup>29</sup> [В Балаклаве. Это просто из пальмового дерева.]

<sup>30</sup> [Вы меня обяжете, если оставите себе эту вещь на память о нашей встрече.]

– Табак *бун*, – говорит солдат в розовой рубашке, и зрители улыбаются.

– Oui, bon tabac, tabac turc, – говорит француз, – et chez vous tabac russe? bon?<sup>31</sup>

– Рус бун, – говорит солдат в розовой рубашке, причем присутствующие покатываются со смеху. – Франсе нет бун, бонжур, мусье, – говорит солдат в розовой рубашке, сразу уж выпуская весь свой заряд знаний языка, и треплет француза по животу и смеется. Французы тоже смеются.

– Il ne sont pas jolis ces b[êtes] de russes,<sup>32</sup>– говорит один зуав из толпы французов.

– De quoi de ce qu'ils rient donc?<sup>33</sup> – говорит другой черный, с итальянским выговором, подходя к нашим.

– Кафтан бун, – говорит бойкий солдат, рассматривая шитые полы зуава, и опять смеются.

– Ne sortez pas de la ligne, à vos places, sacré nom.....<sup>34</sup> – кричит французской капрал, и солдаты с видимым неудовольствием расходятся.

А вот в кружке французских офицеров, наш молодой кавалерийской офицер так и рассыпается французским парикмахерским жаргоном. Речь идет о каком-то comte Sazonoff, que j'ai beaucoup connu, m-r,<sup>35</sup> – говорит французский офицер с одним эполетом: – c'est un de ces vrais comtes russes, comme nous les aimons.<sup>36</sup>

– Il y a un Sazonoff que j'ai connu, – говорит кавалерист, – mais il n'est pas comte, a moins que je sache, un petit brun de votre âge à peu près.

– C'est ça, m-r, c'est lui. Oh que je voudrais le voir ce cher comte. Si vous le voyez, je vous pris bien de lui faire mes compliments. – Capitaine Latour,<sup>37</sup> – говорит он, кланяясь.

– N'est ce pas terrible la triste besogne, que nous faisons? Ça chauffait cette nuit, n'est-ce pas?<sup>38</sup> – говорит кавалерист, желая поддержать разговор и указывая на трупы.

– Oh, m-r, c'est affreux! Mais quels gaillards vos soldats, quels gaillards! C'est un plaisir que de se battre contre des gaillards comme eux. – Il faut avouer que les vôtres ne se mouchent pas du pied non plus,<sup>39</sup> – говорит кавалерист, кланяясь и воображая, что он удивительно умен. Но довольно.

Посмотрите лучше на этого 10-летнего мальчишку, который в старом – должно быть, отцовском картузе, в башмаках на босу ногу и нанковых штанишках, поддерживаемых одною помочью, с самого начала перемирия вышел за вал и всё ходил по лошине, с тупым любопытством глядя на французов и на трупы, лежащие на земле, и набирал полевые голубые цветы, которыми усыпана эта роковая долина. Возвращаясь домой с большим букетом, он, закрыв нос от запаха, который наносило на него ветром, остановился около кучки снесенных тел и долго смотрел на один страшный, безголовый труп, бывший ближе к нему. Постояв недвижно довольно долго, он подвинулся ближе и дотронулся ногой до вытянутой окоченевшей руки трупа. Рука покачнулась немного. Он тронул ее еще раз и крепче. Рука покачнулась и опять стала на свое место. Мальчик вдруг вскрикнул, спрятал лицо в цветы и во весь дух побежал прочь к крепости.

<sup>31</sup> [Да, хороший табак, турецкий табак, – а у вас русский табак? хороший?]

<sup>32</sup> [Они не красивы, эти русские скоты,]

<sup>33</sup> [О чем это они смеются?]

<sup>34</sup> [Не выходи за черту, по местам, чорт возьми.....]

<sup>35</sup> [графу Сазонове, которого я хорошо знал, сударь,]

<sup>36</sup> [Это один из настоящих русских графов, из тех, которых мы любим.]

<sup>37</sup> [– Я знал одного Сазонова, – говорит кавалерист, – но он, насколько я знаю, не граф, небольшого роста брюнет, приблизительно вашего возраста.– Это так, это он. О, как я хотел бы видеть этого милого графа. Если вы его увидите, очень прошу передать ему мой привет. – Капитан Латур,]

<sup>38</sup> [Не правда ли, какое ужасное печальное дело мы делаем? Жарко было прошлой ночью, не правда ли?]

<sup>39</sup> [– О! это было ужасно! Но какие молодцы ваши солдаты, какие молодцы! Это удовольствие драться с такими молодцами!– Надо признаться, что и ваши не ногой сморкаются,]

Да, на бастионе и на траншее выставлены белые флаги, цветущая долина наполнена смрадными телами, прекрасное солнце спускается с прозрачного неба к синему морю, и синее море, колыхаясь, блестит на золотых лучах солнца. Тысячи людей толпятся, смотрят, говорят и улыбаются друг другу. И эти люди – христиане, исповедующие один великий закон любви и самоотвержения, глядя на то, что они сделали, не упадут с раскаянием вдруг на колени перед Тем, Кто, дав им жизнь, вложил в душу каждого, вместе с страхом смерти, любовь к добру и прекрасному, и со слезами радости и счастья не обнимутся, как братья? Нет! Белые тряпки спрятаны – и снова свистят орудия смерти и страданий, снова льется честная, невинная кровь, и слышатся стоны и проклятия.

–

Вот я и сказал, что хотел сказать; но тяжелое раздумье одолевает меня. – Может, не надо было говорить этого. Может быть, то, что я сказал, принадлежит к одной из тех злых истин, которые бессознательно таясь в душе каждого, не должны быть высказываемы, чтобы не сделаться вредными, как осадок вина, который не надо взбалтывать, чтобы не испортить его.

Где выражение зла, которого должно избегать? Где выражение добра, которому должно подражать в этой повести? Кто злодей, кто герой ее? Все хороши и все дурны.

Ни Калугин с своей блестящей храбростью (*bravoure de gentilhomme*) и тщеславием, двигателем всех поступков, ни Праскухин пустой, безвредный человек, хотя и павший *на брани за веру, престол и отечество*, ни Михайлов с своей робостью и ограниченным взглядом, ни Пест, – ребенок без твердых убеждений и правил, не могут быть ни злодеями, ни героями повести.

Герой же моей повести, которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его, и который всегда был, есть и будет прекрасен, – правда.

1855 года, 26 июня.

## \*\*\*\* СЕВАСТОПОЛЬ В АВГУСТЕ 1855 ГОДА.

### 1.

В конце августа по большой ущелистой севастопольской дороге, между Дуванкдой<sup>40</sup> и Бахчисараем, шагом, в густой и жаркой пыли ехала офицерская тележка (та особенная, больше нигде не встречаемая тележка, составляющая нечто среднее между жидовской бричкой, русской повозкой и корзинкой).

В повозке – спереди на корточках сидел денщик в нанковом сюртуке и сделавшейся совершенно мягкой бывшей офицерской фуражке, подергивавший возжами; – сзади на узлах и выюках, покрытых попонкой, сидел пехотный офицер в летней шинели. Офицер был, сколько можно было заключить о нем в сидячем положении, не высок ростом, но чрезвычайно широк, и не столько от плеча до плеча, сколько от груди до спины; он был широк и плотен, шея и затылок были у него очень развиты и напряжены, так называемой талии – перехвата в середине туловища – у него не было, но и живота тоже не было, напротив он был скорее худ, особенно в лице, покрытом нездоровым желтоватым загаром. Лицо его было бы красиво, ежели бы не какая-то одутловатость и мягкие, нестарческие, крупные морщины, сливавшие и увеличивавшие черты и дававшие всему лицу общее выражение несвежести и грубости. Глаза у него были небольшие карие, чрезвычайно бойкие, даже наглые; усы очень густые, но не широкие, и обкусанные; а подбородок и особенно скулы покрыты были чрезвычайно крепкой, частой и черной двухдневной бородой. Офицер был ранен 10 мая осколком в голову, на которой еще до сих пор он носил повязку, и теперь, чувствуя себя уже с неделю совершенно здоровым, из Симферопольского госпиталя ехал к полку, который стоял где-то там, откуда слышались выстрелы, – но в самом ли Севастополе, на Северной или на Инкермане, он еще ни от кого не мог узнать хорошенько. Выстрелы уже слышались, особенно иногда, когда не мешали горы, или доносил ветер, чрезвычайно ясно, часто и, казалось, близко: то как будто взрыв потрясал воздух и невольно заставлял вздрагивать, то быстро друг за другом следовали менее сильные звуки, как барабанная дробь, перебиваемая иногда поразительным гулом, то всё сливалось в какой-то перекатывающийся треск, похожий на громовые удары, когда гроза во всем разгаре, и только что полил ливень. Все говорили, да и слышно было, что бомбардированье идет ужасное. Офицер погонял денщика: ему, казалось, хотелось как можно скорей приехать. Навстречу шел большой обоз русских мужиков, привозивших провиант в Севастополь, и теперь шедший оттуда, наполненный больными и ранеными солдатами в серых шинелях, матросами в черных пальто, греческими волонтерами в красных фесках и ополченцами с бородами. Офицерская повозочка должна была остановиться, и офицер, щурясь и морщась от пыли, густым, неподвижным облаком поднявшейся на дороге, набивавшейся ему в глаза и уши и липнувшей на потное лицо, с озлобленным равнодушием смотрел на лица больных и раненых, двигавшихся мимо него.

– А это с нашей роты солдатик слабый, – сказал денщик, оборачиваясь к барину и указывая на повозку, наполненную ранеными, в это время поровнявшуюся с ними.

На повозке спереди сидел боком русский бородач в поярковой шляпе и, локтем придерживая кнутовище, связывал кнут. За ним в телеге тряслись человек пять солдат в различных положениях. Один, с подвязанной какой-то веревочкой рукой, с шинелью в накидку, на весьма грязной рубахе, хотя худой и бледный, сидел бодро в середине телеги и взялся было за шапку, увидав офицера, но потом, вспомнив верно, что он раненый, сделал вид, что он

<sup>40</sup> Последняя станция к Севастополю.

только хотел почесать голову. Другой, рядом с ним, лежал на самом дне повозки; видны были только две исхудалые руки, которыми он держался за грядки повозки, и поднятые колени, как мочалы, мотающиеся в разные стороны. Третий, с опухшим лицом и обвязанной головой, на которой сверху торчала солдатская шапка, сидел с боку, спустив ноги к колесу, и, облокотившись руками на колени, дремал, казалось. К нему-то и обратился проезжий офицер.

– Должников! – крикнул он.

– Я-о, – отвечал солдат, открывая глаза и снимая фуражку, таким густым и отрывистым басом, как будто человек 20 солдат крикнули вместе.

– Когда ты ранен, братец?

Оловянные, заплывшие глаза солдата оживились: он видимо узнал своего офицера.

– Здравия желаем, вашбородие! – тем же отрывистым басом крикнул он.

– Где нынче полк стоит?

– В Сивастополе стояли; в середу переходить хотели, вашбородие!

– Куда?

– Неизвестно... должно, на Сиверную, вашбородие! Нынче, вашбородие, – прибавил он протяжным голосом и надевая шапку, – уже скрость палить стал, всё больше с бомбов, ажно в бухту доносить; нынче так бьеть, что бяда, ажно...

Дальше нельзя было слышать, что говорил солдат; но по выражению его лица и позы видно было, что он, с некоторой злобой страдающего человека, говорит вещи неутешительные.

Проезжий офицер, – поручик Козельцов, был офицер недюжинный. Он был не из тех, которые живут так-то и делают то-то, а не делают того-то потому, что так живут и делают другие: он делал всё, что ему хотелось, а другие уж делали, что он, и были уверены, что это хорошо. Его натура была довольно богата; он был не глуп и вместе с тем талантлив, хорошо пел, играл на гитаре, говорил очень бойко и писал весьма легко, особенно казенные бумаги, на которые набил руку в свою бытность полковым адъютантом; но более всего замечательна была его натура самолюбивой энергией, которая, хотя и была более всего основана на этой мелкой даровитости, была сама по себе черта резкая и поразительная. У него было одно из тех самолюбий, которое до такой степени слилось с жизнью и которое чаще всего развивается в одних мужских и особенно военных кружках, что он не понимал другого выбора, как первенствовать или уничтожаться, и что самолюбие было двигателем даже его внутренних побуждений: он сам с собой любил первенствовать над людьми, с которыми себя сравнивал.

– Как же! очень буду слушать, что Москва<sup>41</sup> болтает! – пробормотал поручик, ощущая какую-то тяжесть апатии на сердце и туманность мыслей, оставленных в нем видом транспорта раненых и словами солдата, значение которых невольно усиливалось и подтверждалось звуками бомбардированья. – *Смешная эта Москва*

---

<sup>41</sup> Во многих армейских полках офицеры полупрезрительно, полуласкательно называют солдата *Москва* или еще *присяга*.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.